ТИШИНА

ДО ДВАДЦАТИ ОДНОГО
КНИГА ПЕРВАЯ



Иван Лекс

До двадцати одного. Тишина.

«Автор»
2026

Лекс И.

До двадцати одного. Тишина. / И. Лекс — «Автор», 2026

Они называют это синдромом. Мы называем — магией.В Сосновске, городе трёх комбинатов, у каждого ребёнка в восемь лет просыпается способность. К двадцати одному она гаснет — так было всегда. Взрослые обороняются: «тихие ворота» в школах, фономеры на столбах, браслеты-ограничители и санаторий «Родник», откуда не возвращаются.Кира Ветрова умеет только выключать чужую магию. Самая отстойная сила на свете — пока младшая сестра не начинает левитировать во сне, а серые не приходят за ней ночью. Теперь Кира — «тишина», которая нужна всем: и серым, и детям из заброшенной теплицы.Шестнадцать — не возраст для войны. Но когда детей забирают по одному, остаётся одно: объединиться. Сказать тому, кому доверяешь. И не отдать им своего страха.Первая книга серии «До двадцати одного» — о магии без Хогвартса, любви на всю жизнь и цене обещания: вернуть всех.

© Лекс И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 6
Глава 2 9
Глава 3 12
Глава 4 16
Глава 5 19
Глава 6 23
Глава 7 27
Глава 8 31
Глава 9 35
Глава 10 39
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Иван Лекс
До двадцати одного. Тишина.

ДО ДВАДЦАТИ ОДНОГО
ТИШИНА
Книга первая

Глава 1

Из методички Комитета биобезопасности для педагогов:

«Не говорите детям "магия". Слово "магия" романтизирует патологию. Говорите "синдром". Синдромы проходят».

У мальчишки на остановке горели ладони.

Ему было лет десять, не больше, и он делал это не из вредности — он развлекал сестру. Девочке было года четыре, она сопела и крутилась на скамейке, и тогда брат зажигал ладошки, как две грелки, и рисовал ими в утреннем сумраке огненные восьмёрки. Девочка хохотала. У мальчишки самого лицо было белое, как мел: он боялся. Я видела. Он веселил сестру, а сам каждую секунду косился на фономер на столбе.

Фономер — такая серая коробка размером с буханку хлеба. Висят теперь везде: на остановках, у школ, над детскими площадками. Ловят всплески. Если магия рядом сильная — начинают пищать, и тогда у тебя минут пять, чтобы исчезнуть, пока не приехали серые.

Люди на остановке делали вид, что ничего не происходит. Тётка в берете отодвинулась. Мужик с портфелем уткнулся в телефон. Никто не смотрел на огненные восьмёрки, потому что смотреть — значит замечать, а замечать — значит что-то решать. Взрослые не любят ничего решать. Они любят, чтобы всё было как вчера.

Я стояла в трёх метрах от мальчишки и чувствовала, как во мне просыпается моя собственная магия. Она всегда так: чует чужую и тянется к ней, как кошка тянется к тёплой батарее. Внутри, за грудиной, начинало нарастать знакомое давление — будто кто-то изнутри зажимает мир ладонями, как уши.

Моя магия — тишина. Я выключаю чужую. Просто выключаю, и всё: не горят ладошки, не летают предметы, не бегут искры. Пока я держу свой пузырь, в радиусе десяти метров никакой магии нет. Совсем. Фономер молчит, рамка молчит, мир серый и обычный.

Самая отстойная магия на свете, если серьёзно. Другие включают — я выключаю.

Мальчишка погасил ладони за секунду до того, как подошёл автобус. Смылся с сестрой в салон, прижал её к себе. Фономер так и не пискнул. Мелкий, ты сегодня везунчик.

Автобус пах мокрой пылью и чужими куртками. Я встала у окна и смотрела, как за стеклом проплывает Сосновск — мой город, самый серый город на свете. Серые панельки, серые оградки, серый дым из труб «Пересвета» на горизонте. По радио в салоне бубнила дикторша:

«...фон дня — три и два, в пределах новой нормы. Напоминаем: если ваш ребёнок демонстрирует признаки синдрома, не затягивайте с обследованием. Ранняя регистрация — это забота».

Кто-то выключил радио. Кто-то выругался вполголоса — коротко и безнадёжно, как выключают лампочку.

«Новая норма». У взрослых на всё есть слова, чтобы не было страшно. Не «нас травят сорок лет», а «новая норма». Не «у детей магия», а «синдром». Не «забрали навсегда», а «направили в санаторий».

Мы, дети, говорим проще. Мы говорим: магия. Мы говорим: серые. Мы говорим: Родник — и после этого слова даже самые отчаянные понижают голос.

— Девочка! Окно закрой, дует!

Я закрыла. В стекле отразилась я сама: шестнадцать лет, тёмный хвост, круги под глазами, как у совы. Не выспалась. Потому что ночью я опять спала на полу в комнате сестры.

Дома пахло овсянкой и страхом.

Страх у мамы — постоянный, фоновый, как наши три и два. Она носит его, как носят старую кофту: уже не замечает. Но я замечаю. Я замечаю, как она вздрагивает от стука в дверь. Как проверяет шторы. Как улыбается Ладе — быстро, виновато, будто извиняется.

Лада сидела за столом, болтала ногами и рассказывала про контрольную по чтению. Ей восемь. У неё косички, рыжие брови и привычка заливаться краской, когда врёт. Над её тарелкой в воздухе, в сантиметре от стола, дрожала ложка.

Медленно-медленно поднималась.

— Лад, — сказала я тихо.

— А? — Она проследила мой взгляд, охнула и хлопнула ладонью по столу. Ложка звякнула. — Это не я! Она сама!

— Она никогда не сама, — сказала мама у плиты, не оборачиваясь. Спина у неё была прямая-прямая, как линейка. Такая спина бывает у людей, которые изо всех сил держатся.

— Ну-у, — Лада надулась, — я даже не заметила.

В этом и была вся беда. Лада не замечала. Её магия работала, когда она зевала, смеялась, засыпала. Просыпалась ночью — а над кроватью парит мишка. Во сне она левитировала: одеяло, подушка, игрушки, один раз — табуретка. Просыпалась от того, что парила сама, в полуметре над кроватью, и орала так, что соседи стучали по батарее.

Мама ставила вопрос ребром год назад: отвести ребёнка на обследование, как велит телевизор. «Ранняя регистрация — это забота». Она собрала документы, записалась. А за день до приёма из Родника не вернулась дочь её подруги — Настя, двенадцать лет, умела плавить стекло в ладонях. «Нестабильная, — сказали серые. — Временно». Это было год назад.

Мама документы сожгла в раковине.

С тех пор мы жили так: днём Лада — обычная девочка, второй класс, косички. Ночью я дремала на полу у её кровати и держала тишину. Пока я рядом и держу — Лада обычная. Ничего не парит, фономеры молчат. Я её шапка-невидимка наоборот: не себя прячу, а её.

Цена простая: к утру у меня раскалывается голова, а пару раз была кровь из носа — тонкой струйкой, горячая, на наволочку. Мама стирает наволочки и не задаёт вопросов. Мы все делаем вид, что так и надо.

— Послезавтра, — мама поставила передо мной тарелку, — у младших классов смотрины. У Лады тоже.

Ложка в моей руке замерла.

— Послезавтра? А ты не говорила.

— Письмо вчера пришло. — Мама села напротив и стала смотреть в стол. Она всегда смотрит в стол, когда боится. — Плановые. Всех, с семи лет. Без права неявки.

— Мам, это же... — я опустила голос, хотя в квартире были только мы. — Если они что-то увидят...

— Не увидят. — Она подняла глаза. В них было столько мольбы, что меня повело. — Ты же пойдёшь с нами, Кир? Ты ведь пойдёшь?

Она никогда не спрашивала прямо: «ты ведь включишь свою штуку и будешь держать, сколько надо?» Мы не говорили про мою магию вслух. Никогда. В нашей семье это было правило номер один: не называть вещи своими именами. Может, тогда они не придут.

— Пойду, — сказала я. — Конечно, пойду.

Лада переводила взгляд с меня на маму и жевала очень медленно. Потом сказала:

— А если я маг, меня заберут?

— Ты не маг! — рявкнула мама так, что Лада вздрогнула. — Ты слышишь? Ты. Не. Маг. У тебя ничего нет, это всё выдумки, идиопатические случаи, врачи сказали — возрастное!

Она сама не заметила, что кричит. Лада надула губы и уставилась в овсянку. Над кастрюлей тихонько закачалась поварёшка.

Я вдохнула — и включила тишину. Как мышцу напрягла, той самой, которой нет ни у кого, кроме меня. Мир внутри пузыря сделался твёрдым, плотным, серым. Поварёшка упала. Лада — обычный ребёнок с обиженными губами. Овсянка — просто овсянка.

— Не заберут, — сказала я. — Никто никого не заберёт. Доедай, а то опоздаем.

В прихожей, над вешалкой, висело фото отца.

Я помню его обрывками. Мне было восемь, когда он погиб на «Пересвете» — несчастный случай, сказали, комиссия разобралась, вот компенсация. Лучше всего я помню руки: большие, тёплые. Он мог держать мой замёрзший нос в ладони — и нос отогревался за секунду.

Мама однажды, когда думала, что я сплю, сказала тёте Люсе по телефону: «Андрей был из коротких. У него было два месяца. Он говорил — это как влюблённость: быстро кончается, и никому потом не докажешь, что она была».

Короткие. Так называют первое поколение. Тогда, лет двадцать семь назад, магия приходила на месяц-два и уходила навсегда. Взрослые вздыхали с облегчением: ну, перебесились — и ладно. А потом срок начал расти. Год. Три года. Пять. Сейчас — с семи лет до двадцати одного. Учёные по телевизору крутят пальцами у виска и бормочут, что это, возможно, ещё не предел.

Взрослые больше не вздыхают с облегчением. Взрослые строят фономеры.

Отец успел в самое начало: его два месяца кончились, как каникулы. А мне досталось на всю катушку. До двадцати одного мне ещё пять лет. Пять лет тишины, которую я трачу на то, чтобы притворяться обычной.

Я подмигнула фото — у нас так заведено, — и вывела Ладу за дверь.

Школа номер три встретила нас запахом хлорки и плакатом: «Скажи взрослым, если заметил у друга странности! Будь бдительным!» На плакате нарисованный мальчик радостно стучал нарисованной тётке в погонах.

— Противные, — сказала Лада, глядя на плакат.

— Маленькая ещё такие слова говорить.

— А вы с Асей говорите.

— Мы большие. — Я присела перед ней. — Слушай. Сегодня ведёшь себя как всегда. Никаких... — я покрутила пальцами в воздухе.

— А если само?

— Тогда сразу ко мне. Я на два этажа выше, я прибегу быстрее, чем ты договоришь «это не я». — Я подняла её на крыльцо. — И не бойся. На смотринах я буду рядом. Весь день. От первой минуты до последней. Ты меня слышала?

Она кивнула. Глаза у неё были огромные, рыжие брови домиком.

— Кир. А правда, что у тех, у кого есть магия, её потом забирают? Ну, в двадцать один. Костик сказал — в двадцать один все сдыхают.

— Не сдыхают, а гаснут, балда. Магия гаснет, а не люди.

— А ты не боишься погаснуть?

Вот вопрос. Восемь лет, косички, а вопрос — в самую точку.

Боюсь ли я? Ночью, когда держу тишину и голова трещит, я думаю: вот прожить бы до двадцати одного, выдохнуть, стать нормальной. А иногда — чаще, чем хочется признаться, — я смотрю, как Ася вытаскивает из воздуха светящуюся бабочку, как Марк появляется из ниоткуда за углом, как Лада во сне кружит пёрышко, и думаю: как это — проснуться в мире, где этого больше нет? Где никогда больше не будет?

— Не боюсь, — соврала я. — Беги.

Она побежала — рюкзак подпрыгивал на спине, косички летали. У дверей обернулась и помахала мне. Я помахала в ответ.

Послезавтра — смотрины. Я продержу её столько, сколько понадобится.

Я же старшая сестра. Это моя работа.

Глава 2

Из приказа по школе №3: «Напоминаем: проявления аномального синдрома на территории школы запрещены и приравниваются к грубому нарушению дисциплины. Проход через рамки контроля обязателен для всех учащихся».

Школа номер три стоит на холме. Наверное, когда-то её строили красивой, но с тех пор прошло лет пятьдесят и несколько директоров, и теперь это коробка цвета мокрого асфальта с тремя флажками, которых никто не различает.

У входа — тихие ворота. Серая рамка, как в аэропорту, только чувствительнее. Проходишь — она слушает. Если в тебе есть магия и ты хоть немного взволнован (а кто не взволнован, проходя через рамку?), ворота тихонько пищат. Не сирена — именно писк, вежливый, как будто извиняются. И тебя — в сторону, к завучу, на «беседу».

Над воротами кто-то нацарапал: «МАГИЯ ВНЕ ХОГВАРТСА ЗАПРЕЩЕНА». Надпись закрашивают каждый месяц. Она появляется снова. Последний раз — свежая краска, ещё липкая, и Егор проходил под ней с видом человека, который ничего не знает, и уши у него светились.

У Егора светятся уши, когда он волнуется или хитрит. Вообще-то у него светится всё — вся кожа, ровным тёплым светом, как у ночника. Но днём, на свету, почти не видно. А вот уши — уши выдают его всегда. Он их ненавидит. Он вообще ненавидит свою магию: говорит, что хуже не придумать, потому что все умеют что-то делать, а он — быть лампочкой.

— Внимание, — сказал он, когда я подошла. — Тихие ворота. Хогвартс наоборот: там магию учат, тут вычисляют. Заходим по одному, дышим ровно, думаем о вечном.

— О вечном — это о чём?

— О супе. — Он прошёл через рамку, не дыша. Рамка молчала. — Магия тут ни при чём, я просто есть хочу.

Меня рамка тоже пропустила молча. Она всегда молчит. Ей нечего поймать: я не свечу, я глушу. Тишина для приборов — просто отсутствие сигнала. Я для всех рамок города — самая обычная девочка. Единственная магия, которую невозможно заметить, — это магия, которая прячет другие.

Удобно. И очень, очень одиноко.

Ася ждала у раздевалки. Она у нас красивая — по-настоящему, киношно: светлые волосы, родинка у губ, и глаза всегда немного удивлённые, будто ей только что сказали что-то хорошее. Она сидела на подоконнике и развлекала первоклашек: на ладони у неё трепетала бабочка. Прозрачная, из света и звука, крылья чуть слышно шелестели, как страницы. Первоклашки ахали.

— Ася, — сказала я, — тихие ворота в двух метрах.

— Я чуть-чуть. — Она сложила ладони, бабочка исчезла. — Это даже не магия, это так, репетиция. У меня кружок.

Кружок у неё — театральный. Там она «делает световое оформление». Вся школа знает, что она делает. Вся школа делает вид, что не знает. Так у нас всё и живёт: все всё знают про всех, но если не сказано вслух — как будто не считается.

— Видели объявление? — Ася кивнула на стенд.

Я видела. Все видели. Лист А4, поля кривые, отпечатано на убитом принтере:

«Завтра, для учащихся 9–11 классов, в актовом зале — внеплановое занятие по основам биологической безопасности. Проводит методист Комитета биобезопасности. Явка обязательна. Отсутствующие будут отмечены».

— Урок трезвости, — сказал Егор.

Так мы это называем. Уроки трезвости: ролики про «синдром», лекции про «ответственность», страшилки про «нестабильных». Раз в месяц, как прививка.

— Ненавижу этого дядьку, — сказала Ася. — Как его, с глазами, как кнопки.

— Плющ. — Егор задрал голову к потолку. — Методист Плющ. Звучит как болезнь. «У вас плющ? — Нет, у меня Плющ, пришёл читать лекцию».

Мы ржали, и это было нормально, потому что ржать — единственное, что разрешено.

— А новенький? — Ася ткнула меня локтём. — Смотри.

Марк Орлов шёл по коридору так, будто коридор принадлежал ему. Он перешёл к нам год назад, из центра, и до сих пор ходил слух, что его выгнали оттуда «за проявления» — то ли он прыгнул при комиссии, то ли при директоре. Про Марка вообще ходили слухи: что он умеет прыгать на десять метров, что на двадцать, что однажды прыгнул через крышу гаража. Я знала только одно: иногда я видела, как он стоит там, где секунду назад его не было. И воздух рядом — как после грозы, чуть-чуть звенит.

Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Улыбка у него была из тех, от которых хочется дать по морде. Или сделать что-нибудь ещё, о чём лучше не думать на перемене.

— Ветрова, — сказал он, проходя мимо. — Ты чего такая сердитая? Мир не такой серый, как кажется.

— Он именно такой серый, — сказала я. — Посмотри в окно.

— Я смотрю внутрь, — сказал он, и ушёл, и оставил после себя запах озона и мятной жвачки.

— Он тебя дразнит, — сказала Ася счастливо. — Он тебя дразнит уже полгода.

— Он всех дразнит.

— Нет, тебя особенно. — Она соскочила с подоконника. — Кстати, ты не заметила? Он когда рядом с тобой, он никогда не... — она покрутила пальцами в воздухе, как я утром.

Я заметила. Конечно, заметила. Мне ли не знать, кто когда рядом со мной молчит. Но я ничего не сказала. Мы с Асей подруги с первого класса, но моя тишина — это тайна, которую я не доверяла даже ей. Чем больше людей знают, что ты умеешь выключать магию, тем быстрее придут те, кто захочет тебя включить.

Потому что одно дело — светиться или прыгать. И совсем другое — выключать. Магию боятся. А что, скажите, взрослые сделают с девочкой, которая может стереть магию одним вдохом?

Правильно. Они её заберут. Не в Родник — хуже.

Первым уроком была биология.

Игорь Петрович — наш биолог — единственный взрослый в школе, на которого не хотелось шипеть. Ему было лет пятьдесят, он носил твидовый пиджак, как из старых фильмов, и говорил тихо, отчего класс слушал его лучше, чем крикунов.

В тот день он проходил мутации. Официально — у дрозофил, по учебнику. Он рисовал на доске муху и вдруг сказал:

— Мутация — это не ошибка. Это ответ. Среда изменилась — организм отвечает. Среда не спрашивает разрешения у организма. И организм, — он постучал мелом по доске, — не спрашивает разрешения у среды.

Класс сидел очень тихо. Слишком тихо, как всегда, когда взрослый подходил к запретной черте ближе, чем положено.

— Игорь Петрович, — сказал кто-то с задней парты. — А про... ну, про синдром. Это тоже ответ?

Игорь Петрович повернулся. Я смотрела на его руки: они чуть дрожали. Говорили, он из коротких — из первого поколения. Говорили, у него тоже было что-то, а потом кончилось, как у всех тогда. И говорили, поэтому он и остался в школе, хотя с его головой мог работать где угодно.

— Для статистики — синдром, — сказал он наконец. — Для сказок — магия. Для биологии — адаптация. Называйте как хотите. Природа не читает методичек.

Он повернулся к доске и стал дорисовывать мухе крыло, и больше в тот день не сказал ничего интересного.

Но я запомнила. Природа не читает методичек. Я повторяла это про себя весь день, как заклинание.

Вечером, за ужином, по телевизору показали рейд. Камера дрожала, снимали издалека: подъезд на Зелёной улице, серые фургоны, и женщина, которая кричала и рвала на себе волосы, а двое в сером вели под руки девочку лет четырнадцати. Девочка не сопротивлялась. Она смотрела в камеру — прямо в камеру, будто знала, что я смотрю, — и лицо у неё было спокойное, как у мертвой.

«...в семье, ранее состоявшей на учёте, — говорила дикторша. — Ребёнок направлен в санаторий "Родник" для стабилизации. Родителям напоминаем: своевременная регистрация...»

Мама выключила телевизор. В комнате стало тихо, только холодильник гудел.

— Это Настя, — сказала мама. Голос был деревянный. — Кравец. Из третьего подъезда. Она стекло умела. Плавить. Красиво так, лепесточки.

— Я знаю, мам.

— Она в Роднике была уже год, — сказала мама. — Год, Кира. А сейчас опять забрали — видишь? Видишь, что бывает? Сначала забрали, отдали, а потом — опять. Они не отпускают. Они никогда не отпускают.

Она стала мыть посуду. Очень громко. Тарелки дребезжали, как зубы.

Я сидела и смотрела на экран, где застыла заставка с логотипом Комитета — голубь, обнимающий земной шар. Я думала про Настю. Я её почти не знала, но я помнила: она умела плавить стекло в ладонях и делать из него цветы. Она дарила девчонкам стеклянные розы.

И я думала: если бы я была там, если бы я успела включить тишину рядом с ней — фономеры бы молчали. Она бы вышла из подъезда как все. Никто бы не знал.

Но меня там не было. И это было почти облегчение. И это облегчение было самым гадким чувством на свете.

Ночью я лежала на полу у Ладиной кровати и смотрела, как над ней кружит мишка. Медленно, лениво, по спирали. Она спала и улыбалась. Ей снилось что-то хорошее — может, море, которого она никогда не видела, может, просто лето.

Я не выключала её. Не могла. Пусть кружит. Пусть ей хоть во сне можно.

Завтра — их урок трезвости. Послезавтра — смотрины. Держать придётся долго.

Я легла щекой на ковёр и закрыла глаза. Тишина внутри меня дышала ровно, как спящий зверь. Держи, говорила я ей. Держи.

Она держала. Она всегда держала.

Глава 3

Из листовки Комитета биобезопасности:

«Родитель! Помни: молчание о симптомах — это не любовь. Это промедление. Синдром не проходит от того, что о нём не говорят».

Урок трезвости ставили в актовый зал, на большую перемену, чтобы съелось сразу двадцать минут жизни.

Мы сидели по классам, как на линейке. Воздух был тёплый и несвежий, пах мокрыми куртками и апельсиновыми корками — кто-то жевал втихаря. На сцене, за столом с синей скатертью, сидел методист Плющ: круглый, розовый, с глазами-кнопками. Рядом с ней — завуч, и ещё одна женщина, в самом конце стола, чуть в тени.

Она была в сером.

Не в форменном сером, как у патрульных, а в простом сером пальто, но почему-то сразу было понятно: из Комитета. Может, по тому, как она сидела — прямо, руки на коленях, — а может, по тому, что завуч то и дело смотрела не на Плюща, а на неё.

— Дорогие ребята! — Плющ улыбнулся. У него была улыбка хорошего дядьки из рекламы йогурта. — Сегодня мы поговорим о здоровье. О вашем здоровье. И о том, как важно вовремя заметить... симптомы.

Зал загудел — тихо, как гудит улей, когда в него сунули палку.

Ролик был новый, я такого ещё не видела. Сначала — красиво: солнце, дети бегут по полю. Потом музыка сделалась ниже, и пошли картинки: обгоревшая рама окна. Детская кроватка, с одной стороны целая, с другой — оплавленная. Пожарные. Женщина, которая сидит на корточках посреди двора и качается.

«Три года назад, — говорил голос за кадром, — в посёлке Торфянка произошла трагедия. Незарегистрированный носитель синдрома потерял контроль. Погиб человек. Ребёнок. Ей было шесть лет».

В зале стало совсем тихо. Даже апельсиновый жевун перестал жевать.

Я смотрела на кроватку и думала: они всегда так. Они никогда не покажут тысячу детей, которые сегодня никого не убили. Не покажут Асину бабочку. Не покажут, как мелкий с остановки греет сестрёнке руки. Они покажут одну кроватку — и скажут: вот вся правда. Одна кроватка вместо всех нас.

— Никто не говорит, что вы виноваты, — Плющ выключил проектор и обвёл зал глазами-кнопками. — Синдром — это не вина. Это беда. Как корь, как ветрянка. Но, ребята, если заболел — иди к врачу. А если скрываешь — ты опасен. Для всех. Для друзей. Для родных.

Он помолчал.

— А теперь, как мы договаривались, профилактический осмотр. Всё быстро, безболезненно. Ребята из Комитета просто пройдутся с прибором. Сидим спокойно, руки на партах.

Двое в сером вошли с боковых дверей. У одного в руках был чемоданчик, у другого — прибор: как толстый планшет с антенной. Я такие видела на смотринах у младших. Он пищал — тихо, еле слышно, — когда к нему подходил носитель.

Егор сидел от меня через проход.

Я не смотрела на него, но я знала: он светится. Он всегда светится, когда нервничает, а тут — целый зал, двое серых, прибор. Я чувствовала это кожей: тёплое свечение, как от ночника за занавеской. Кто-нибудь обязательно заметит. Кто-нибудь обязательно скажет: а чего это у вас мальчик фонариком светит?

Серые пошли по рядам. Прибор пищал: чуть громче, чуть тише. Ловил фон. В зале было человек двести, и у половины — магия, и у всех — сердца, которые колотились.

Я закрыла глаза. Вдохнула.

И включила тишину.

Не на себя — наружу. Это как раздуть мыльный пузырь изнутри себя: он выходит сквозь кожу, сквозь рёбра, и растёт, и растёт — десять метров, двенадцать, пятнадцать. Я накрыла наш ряд, проход, Егора, ещё пять рядов впереди.

Мир внутри пузыря стал плотным и серым. Свет на коже Егора погас — я почувствовала это, как чувствуешь, когда в соседней комнате выключают телевизор.

Прибор в руках серого пискнул и замолчал.

— Чего он? — сказал второй.

— Глючит. — Первый потряс прибор. — Тут весь зал фонить должен, а он молчит. Третий раз за неделю. Говорил же, менять партию.

Они пошли дальше. Я держала пузырь. Голова начала наливаться — сначала тяжестью, потом болью, как будто внутри черепа кто-то медленно закручивал гайку. Пять минут. Семь. Серые дошли до конца зала, посовещались с завучем, пожали плечами и ушли.

Женщина в сером пальто за столом не шевельнулась. Она смотрела в зал — и мне показалось, что она смотрит не на серых, а на нас. На ряды. Перебирает нас глазами, как перебирают карты.

Я отпустила пузырь только в коридоре. Мир вспыхнул — Асина сумка звякнула брелоком, где-то чья-то магия снова задышала, — а у меня из носа потекло. Горячее, тонкое.

В туалете я запрокинула голову и смотрела в потолок. Кровь капала в раковину — раз, раз. В зеркале у меня было лицо мертвеца.

Зато Егор вышел из зала обычным мальчиком. Никто ничего не заметил. Никто не поехал в Родник.

Стоит того. Всегда стоит.

Марк поймал меня после уроков, у спортплощадки. Старой, заброшенной — там давно никто не тренировался, турники заросли бурьяном.

— Ветрова.

Я обернулась. Он стоял у турника, и улыбки не было. Впервые за полгода — без улыбки.

— В зале, — сказал он. — Когда серые проходили. Я хотел... — он замялся. — У меня была монетка. Я её кидаю и ловлю прыжком. Фокус. Я сто раз так делал, у меня рефлекс. А сегодня я бросил — и не прыгнул. Просто стоял, как столб, и монетка упала мне на ботинок.

Сердце у меня ухнуло куда-то в кеды.

— Ну и что, — сказала я. — Перенервничал. Бывает.

— Бывает. — Он кивнул. — А потом я вспомнил, что в зале было тихо. Прибор молчал. Прибор, который должен орать на весь зал, — молчал. И тогда я вспомнил ещё кое-что. — Он сделал шаг ко мне. — Что всякий раз, когда ты рядом, мне не хочется прыгать. Не то чтобы не хочется — не могу. Как будто кто-то закрыл кран.

Я молчала. Внутри всё стало очень холодным.

— Это ты, — сказал он. Не спросил — сказал. — Ты тишина.

И тут я сделала глупость. Я могла соврать, отшутиться, уйти. Вместо этого я сказала:

— Докажи.

Марк улыбнулся. Медленно. Как человек, который выиграл.

— Хорошо. Включи меня обратно.

— Я не включаю. Я просто перестаю выключать.

— Тогда перестань.

Я отпустила пузырь. Он стоял в двух метрах — внутри. Я сжала его обратно, до трёх метров, до двух. Марк зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на свои руки, как будто они были новыми.

— Вот это да, — сказал он тихо. — Вот это... — Он исчез.

Не прошёл, не побежал — исчез. Был — и нет. Воздух хлопнул, как пробка. Он появился на турнике, в пяти метрах, сидел верхом, болтал ногами и улыбался так широко, что улыбка не влезала на лицо.

— Вернулось! — крикнул он. — Кира, это как... как будто музыку выключили, а потом включили! А ты что, можешь так всегда?

— Не ори, — сказала я. — Хочешь, чтобы весь город услышал?

Он спрыгнул — не прыжком, просто спрыгнул, по-человечески, — и подошёл. Близко. У него были карие глаза, очень тёмные, и запах озона, как после грозы.

— Как давно? — спросил он.

— С семи.

— С семи?! — Он присвистнул. — И никто не знает?

— Мама. Теперь ты. — Я отвернулась. — Лада не в счёт, она думает, что это игра.

— Почему ты прячешься? Ты же... Кира, ты понимаешь, что ты можешь? Ты можешь выключить любого. Любого! Это же... это как быть единственным человеком с выключателем от солнца!

— Именно, — сказала я. — Единственным. С выключателем. И что, по-твоему, сделают серые, когда узнают, что где-то ходит девочка, которая может стереть магию одним вдохом? Они же меня не отпустят. Они меня используют. Я стану их игрушкой. Или их оружием. Или тем и другим.

Марк замолчал. Ветер шевелил бурьян между турниками.

— Я никому не скажу, — сказал он наконец. Очень серьёзно. Без улыбки. — Клянусь. Хочешь — на что угодно. Хочешь — на кровь. — Он вытащил из кармана ножик — перочинный, маленький. — Вот, могу прямо...

— Убери дурында, — сказала я. — Верю.

Он убрал. Потом сказал, глядя мне в глаза:

— А что ты чувствуешь? Когда выключаешь.

Я задумалась. Никто никогда меня не спрашивал. Никто не знал, чтобы спросить.

— Как будто зажимаешь мир ладонями, — сказала я. — Как уши. И держишь. И всё время держишь. А потом отпускаешь — и мир шумит.

Марк слушал, не перебивая. У него было такое лицо, будто я рассказывала ему что-то очень важное. Не страшное — важное.

— А больно? — спросил он.

— Голова болит. Кровь из носа. Если долго.

— Долго — это сколько?

— Минут двадцать. Полчаса, если совсем надо.

Он присвистнул. Потом сказал:

— А в зале ты держала минут десять. Ради Егора.

Я пожала плечами.

— Ради всех. Там было двести человек.

Марк смотрел на меня так, что мне стало жарко. Потом он сказал — очень тихо:

— Ты не тишина, Ветрова. Ты броня.

Вечером он позвонил. Номер взял у Аси — я потом у неё спросила, и она сказала «ну а что такого» таким голосом, что сразу всё стало понятно про неё и Егора, но это другая история.

— Не спишь? — спросил Марк.

— Нет.

— Я тоже. Прыгаю с кровати на шкаф. Обратно. Не могу остановиться.

— Зачем?

— Не знаю. Проверяю, на месте ли. — Он помолчал. — Смешно. Семнадцать лет прыгаю, и только сегодня понял, как это — когда не можешь. Как будто земля тебя не отпускает. Как будто ты... обычный.

— И как оно?

— Страшно, — сказал он честно. — И спокойно. Одновременно. Странно.

Мы помолчали. В трубке слышно было, как он дышит.

— Видела вчера рейд? — спросил он. — На Зелёной. Настю забрали.

— Видела.

— Я её знал. Немного. Она мне розу сделала. Стеклянную. Я до сих пор не понимаю, как она это делала — стекло же горячее.

— У неё были термостойкие ладони. Магия.

— Магия, — повторил он. — Кира. Если бы я мог прыгнуть в Родник, я бы её вытащил.

— Ты даже не знаешь, где это.

— Найду. — В голосе у него было такое, от чего у меня перехватило дыхание. Не бравада. Уверенность. — Я всю жизнь прыгал оттуда, где плохо, туда, где лучше. Почему бы не прыгнуть туда, где плохо, и вытащить кого-то обратно?

— Ты сумасшедший.

— Я серьёзно, — сказал он. — Если заберут кого-то ещё — я не буду стоять. Я не смогу. Я буду прыгать, пока сердце не встанет, но я не буду стоять.

Я сидела на подоконнике, прижав телефон ухом к плечу, и смотрела на улицу. Фонарь. Мокрый асфальт. Серый город, который спал и видел серые сны.

— Я знаю, — сказала я. — Я тоже не буду.

Это было правдой. Я только сейчас это поняла.

Мы говорили ещё час — ни о чём. Про школу. Про Егоровы уши. Про то, что Ася влюблена в него до слёз, а он думает, что он лампочка. Про то, что Марк ненавидит мятную жвачку, но жуёт её, потому что пахнет озоном и мятой, а он любит, как пахнет озон.

Потом он сказал:

— Кир. А ты боишься погаснуть? В двадцать один.

Лада спрашивала то же самое. Утром. Восемь лет и семнадцать — один и тот же вопрос.

— Боюсь, — сказала я. — А ты?

— Нет, — сказал он. — Я боюсь не успеть.

— Не успеть что?

Он помолчал. Потом сказал:

— Всё. Не успеть всё. Пока могу прыгать.

Я легла спать с телефоном под подушкой. Ночью Лада опять кружила мишку, и я держала тишину, и голова болела, и кровь шла из носа.

Но впервые за долгое время мне было не одиноко.

Глава 4

Из буклета «Как подготовить ребёнка к комиссии»:

«Объясните ребёнку, что врачи — друзья. Спокойный ребёнок проходит обследование быстрее. Не нервничайте сами: дети чувствуют вашу тревогу».

Мама не нервничала. Мама умирала.

Она трижды проверила документы, дважды — Ладины косички, один раз — мои. На Ладе было синее платье с воротничком: «как на фотографию», сказала мама. В прихожей она вдруг обняла Ладу так крепко, что та пискнула, и прошептала:

— Ты хорошая. Ты моя хорошая. Ты просто хорошая девочка.

— Мам, я же просто к врачу, — сказала Лада.

Мама выпустила её и улыбнулась. Улыбка треснула по краям.

Комиссия сидела в поликлинике, кабинет номер шесть. У двери стояла очередь: мамы, папы, дети. Все держали папки с документами. Все смотрели в пол. Дети были тихие — не такие, какими бывают дети в поликлинике, а тихие по-взрослому, с «чемоданным» видом, как будто каждый уже знал: отсюда можно не вернуться домой.

Где-то в конце коридора плакал малыш. Мать качала его и шипела — не от злости, от ужаса: «Тише, тише, ну тише же».

— Ветрова Лада, — сказала медсестра.

Кабинет номер шесть был белым. Посреди — кресло, как у стоматолога, только с ремнями и с датчиками на подлокотниках. За столом — врач, женщина с лицом человека, который очень давно не высыпался. У окна — серый. Молодой, с чемоданчиком. Он не представился.

— Садись, солнышко, — сказала врач Ладе. Голос у неё был добрый. От этой доброты голоса мне стало ещё страшнее. — Не бойся. Это кресло — как в ракете. Хочешь в ракете?

— Я была в ракете, — сказала Лада. — В прошлом году. На карусели.

Мама села на стул у двери. Я встала рядом. Под маской куртки я раздувала пузырь — медленно, осторожно, — пока он не накрыл весь кабинет, весь коридор, половину этажа.

Мир стал плотным. Лада в кресле — просто девочка в синем платье. Датчики на подлокотниках — просто пластик.

— Начнём, — сказала врач.

Она осмотрела Ладе зрачки. Слушала сердце. Потом включила прибор — такой же, как вчера в зале, — и положила его на стол экраном к себе.

— А теперь, солнышко, покажи мне фокус.

Лада замерла.

— Я не умею фокусов.

— Ну как же, — врач улыбнулась. — Все дети умеют. Ну хоть что-нибудь. Подумай о чём-нибудь весёлом. Или обидном. Ну?

Это была самая изощрённая пытка из всех, что я видела. «Покажи фокус». Они не спрашивали «есть ли у тебя магия». Они просили ребёнка показать её. Восемь лет. Какой ребёнок в восемь лет отказывается показать фокус?

Лада посмотрела на маму. Мама сидела очень прямо.

— Я не знаю фокусов, — сказала Лада тихо.

Прибор молчал. Мой пузырь давил на меня изнутри — гайка в черепе закручивалась, закручивалась. Пять минут. Десять. Врач задавала вопросы, Лада отвечала, мама не дышала.

Двадцать минут. У меня запершило в носу — знакомое, горячее. Я вытащила платок и прижала, изображая насморк.

— Ну что ж, — врач вздохнула, и в этом вздохе было столько усталости, что я почти поверила, будто она рада. — Преданомальных проявлений не выявлено. Контроль через год. — Она подписала бумагу. — Можете идти.

Мама встала, и я увидела, как у неё дрожат колени.

И тут серый у окна сказал:

— Постойте.

Он смотрел на меня.

— Девушка. А вы кто?

— Сестра, — сказала мама быстро. — Старшая сестра.

— Старшая сестра, — повторил он. — А вас проверить не просили? Семь лет, говорите, проявление? А ей сколько — шестнадцать? В её возрасте тоже бывают сюрпризы. Поздние. Редко, но бывают. — Он взял прибор. — Пройдёмте-ка. Минутное дело.

Мир остановился. Я слышала, как стучит моё сердце — в ушах, в горле, в кончиках пальцев. Пузырь, думала я. Что, если он увидит пузырь? Что, если прибор умеет видеть не магию, а её отсутствие? Я никогда не проверяла. Я не знала. Я ничего не знала про свою магию, потому что всю жизнь только и делала, что прятала её.

— Она здорова, — сказала мама, и голос у неё сорвался. — Она просто пришла с сестрой...

— Мам, — сказала я. — Всё нормально.

Я вышла в середину кабинета. Серый поднял прибор. Я отпустила пузырь — совсем, до нуля, до последней капли, — и стояла, голая, без защиты, и думала: ну же. Ну давай. Посмотри на меня. Я — ничто. Я — тишина. У меня нечего поймать.

Прибор пискнул один раз — и замолчал. На экране было ровное, серое, пустое.

— Чистая, — сказал серый. И, кажется, разочаровался.

Мама плакала в коридоре, уткнувшись мне в плечо. Лада держала её за руку и говорила:

— Ну что ты, мам. Я же прошла. Я же хорошая девочка. Ты сама сказала.

Вечером мы сидели во дворе, в беседке — старой, деревянной, ещё тех времён, когда во дворах строили беседки. Кто-то протянул туда гирлянду, и она работала: жёлтые лампочки в сумерках, как пойманные светлячки.

Егор пришёл с опущенной головой. Уши у него не светились. Совсем. И это было хуже, чем если бы он сиял.

— Отец принёс, — сказал он и бросил на стол коробку.

В коробке лежал браслет. Чёрный, тонкий, с синим огоньком. «СТРАЖ». Ограничитель. Поле подавления плюс маячок: надеваешь — и твоя магия спит, а Комитет знает, где ты, до метра.

— Позвонили из школы, — Егор говорил в стол. — Вчера. Сказали: ваш сын отвлекался на профилактическом занятии. Сказали: рекомендовано ношение. «Для его же безопасности». — Он хмыкнул. — Отец сказал: наденешь. Сказал: я не хочу, чтобы моего сына увезли. Сказал: ты в моём доме живёшь, будешь жить по моим правилам.

— А ты что? — спросила Ася.

— А я сказал, что я не собака на поводке. — Егор поднял голову. Глаза у него были красные. — Он сказал: тогда живи в другом доме. Мне шестнадцать, Ась. Мне шестнадцать, и мой отец сказал мне: тогда живи в другом доме.

Никто не знал, что сказать. Я обняла его. Ася взяла его за руку — просто взяла и держала.

— Я лампочка, — сказал Егор. — Вот в чём смех-то. Я свечусь. Я никого не могу сжечь, никого не могу сдвинуть, я не могу даже светить ярко, когда мне надо, — только когда страшно. Я самая бесполезная магия на свете. И даже за это — браслет.

— Ты не лампочка, — сказала Ася.

Она сказала это так громко, что мы оба вздрогнули.

— Ты светлячок. Слышишь? Ты светлячок! В «Сумерках» вампиры сверкали на солнце, как бриллианты, — и все девчонки в мире визжали от восторга. Команда Эдварда! Команда Джейкоба! Весь мир выбирал, кого из сверкающих любить! А у нас светишься ты — и тебе браслет. Это не ты неправильный. Это мир устроен несправедливо!

Егор смотрел на неё, открыв рот.

— Я серьёзно! — Ася стукнула кулаком по столу. — И знаешь что? Я объявляю. С сегодняшнего дня я — команда светлячков. Вот. Всё. Решено.

Она покраснела. Егор смотрел на неё, и уши у него начали светиться — сначала чуть-чуть, потом ярче, потом он весь засветился, как человек-гирлянда, и мы ржали, и он ржал, и светился, и это было самое красивое, что я видела за неделю.

Браслет остался лежать в коробке.

Марк пришёл ночью. Не прыгнул — постучал в окно костяшками пальцев, нормально, по-человечески. Я живу на третьем этаже. Он стоял на козырьке подъезда, в метре от моего окна, и улыбался.

— Ты с ума сошёл, — прошипела я, открывая.

— Я прыгнул всего один раз. С крыши гаража. Тут три метра. — Он протянул руку. — Идём. На крышу. Там звёзды.

На крыше не было звёзд — был городской свет, и в нём тонули все звёзды, кроме самых наглых. Но было тихо. И пахло дождём, который ещё не начался.

Мы сидели на парапете, свесив ноги, и он рассказывал про маму. Что она уехала в центр, когда ему было двенадцать. Что «не смогла дышать в этом городе». Что отец после этого сдался — не запил, нет, просто сдался, сел в кресло и с тех пор смотрит в окно.

— Я не злюсь на неё, — сказал Марк. — Она хотела жить. Тут все хотят жить. Просто одни уезжают, а другие прыгают по крышам.

— А ты почему не уехал?

— А ты почему не спишь ночами? — Он повернулся ко мне. — Я видел, Кир. У тебя в комнате сестры свет горит до утра. Не всегда. Но часто. Я не следил — я просто... когда прыгаю мимо, вижу.

Я рассказала ему про Ладу. Про то, как держу тишину всю ночь. Про наволочки с кровью, которые мама стирает не спрашивая. Про отца — короткого, с тёплыми руками, погибшего на «Пересвете» от «несчастного случая», в который никто в нашей семье не верит.

— Мама хранит его значок, — сказала я. — Рабочий. В коробке, под бельём. Она никогда не говорит про тот день. Ни слова. Как будто если не говорить, то не было. У нас вся семья такая. Не называть вещи своими именами — может, тогда они не придут.

Марк молчал. Потом он взял мою руку.

Просто взял — ладонь в ладонь. У него была горячая рука. Я поняла, что пузырь мой спит, и магия его спит, и между нами нет ничего, кроме двух рук и холодного ветра.

— У тебя руки ледяные, — сказал он.

— Это потому, что ты рядом. Когда ты рядом, я всё время чуть-чуть... выключаю. Привычка. — Я сглотнула. — Наверное, я выключила в себе всё электричество.

— Не всё, — сказал он.

Он был близко. Так близко, что я видела, как у него по краю губ залегла ямочка, которую я никогда раньше не замечала. Мир сжался до размера крыши. Мне было шестнадцать, и я думала: вот. Вот сейчас. И это будет на всю жизнь, я знаю, я точно знаю, потому что такие вещи не бывают дважды...

Телефон взвыл.

Ася. Три слова, и весь мир треснул:

«КИРА. СЕРЫЕ. ВАШ ДВОР.»

Глава 5

Из регламента Комитета биобезопасности:

«Внеплановая экспертиза проводится при поступлении сигнала о проявлении. Сопротивление семьи расценивается как подтверждение сигнала».

Мы бежали через весь город, и город был против нас.

Марк прыгал вперёд — через дворы, через заборы, — а потом ждал меня, привалившись к стене. После третьего прыжка у него пошла носом кровь. После пятого он сказал «всё, беги» — и побежал рядом, по-человечески, размазывая кровь по лицу рукавом.

У моего подъезда стоял серый фургон. Один. Пока один.

Ася сидела на качелях через дорогу и, увидев меня, мотнула головой: заходи. В подъезде пахло чужими сигаретами — серые курили на лестнице, двое, с чемоданчиками. Я протиснулась мимо них с лицом человека, который возвращается с тренировки.

На площадке третьего этажа стояла женщина в сером пальто.

Та самая. Из актового зала. Она узнала меня — я видела, как что-то в её лице щёлкнуло, — но не подала вида.

— Кира Ветрова? — Голос был вежливый, как у стоматолога. — Меня зовут Регина Соловьёва, инспектор Комитета. Мы уже беседуем с вашей мамой. Проходите, пожалуйста.

У меня подкосились ноги. Не от страха — от понимания. Они знали. Они всё знали. Кто-то сдал.

Дверь была открыта. В коридоре — ещё двое серых. На кухне мама сидела за столом, перед ней лежала бумага, и она твердила, как заклинание:

— Это ошибка. Это ошибка. Вы перепутали. У нас всё чисто, вот, сегодня же была комиссия, вот подпись, вот печать...

— Никто ничего не перепутал, Вера Андреевна. — Соловьёва вошла следом за мной. — Сегодня в двадцать три ноль четыре уличный фономер зафиксировал всплеск в районе вашего дома. Четвёртая категория. Плюс сообщение жильца: в окне вашей квартиры наблюдались парящие предметы.

Тётя Галя, соседка снизу. Она вечно смотрела в наши окна. Лада кружила мишку — и всего один раз не задернула штору. Один раз.

— Это бред, — сказала мама. — Парящие предметы! Кто-то что-то увидел ночью! У меня ребёнок спит, она прошла комиссию сегодня, у неё справка...

— Справка может быть ошибкой прибора. Приборы, знаете ли, иногда глючат. — Соловьёва сказала это спокойно, но у меня по спине прошёл холод: она думала о зале. О вчерашнем «глючном» приборе. — Ребёнка мы заберём на сорок восемь часов. Обследование. Это не наказание, это забота. Подпишите.

— Я не подпишу.

— Тогда мы заберём без подписи, и это будет зафиксировано как сопротивление. — Соловьёва наклонила голову. — Вера Андреевна. Я не враг вашей дочери. Я враг того, что с ней может случиться, если синдром выйдет из-под контроля. Я видела, как это бывает. Поверьте — вы не хотите увидеть.

И в этот момент из Ладиной комнаты донёсся скрип. Тихий — как будто проснулось что-то большое.

Лада стояла в дверях спальни, растрёпанная, в пижаме с единорогами. Она проснулась от голосов. Она увидела серых, увидела мамино лицо, увидела меня — и заплакала.

И квартира поднялась в воздух.

Стулья оторвались от пола. Посуда выплыла из шкафа — чашки, тарелки, кастрюли, — и закружилась медленной каруселью под потолком. Диван приподнялся на полметра. Люстра

закачалась, звеня. Прибор в руках серого заверещал, как раненый зверь, и экран вспыхнул белым.

— Четвёртая... пятая категория! — крикнул серый. — Регина...

— Браслеты! — Соловьёва впервые повысила голос. — Ограничители, быстро!

Серый расстегнул чемоданчик. Там, на синем бархате, лежали чёрные браслеты — три штуки, с синими огоньками. На Ладины запястья. На Ладины тонкие, восьмилетние запястья.

Что-то во мне оборвалось.

Я включила тишину. Не пузырь — стену. Всё, что у меня было, в один вдох, до дна, до последней капли.

Мир встал.

Тарелки рухнули — не все разбились, ковёр спас. Диван грохнулся. Люстра качнулась и замерла. Прибор захлебнулся писком и погас, экран потемнел. Серый потряс им, как потрясают дохлую птицу.

— Помехи... — пробормотал он. — Опять помехи, я же докладывал, у нас весь приборный парк...

В наступившей тишине было слышно, как плачет Лада. Просто плачет ребёнок. Обычный. Ничем не парящий.

Соловьёва медленно повернулась. Она смотрела не на Ладу. Она смотрела на меня. Внимательно. Как перебирают карты.

А мама смотрела на меня тоже. И в её глазах я увидела, как складывается картинка: зал, прибор, тишина, я. Губы у неё шевельнулись: Андрей.

— Зафиксируйте, — сказала Соловьёва тихо. — Помехи приборов, повторяющиеся. Квартиру — под наблюдение. Ребёнка забираем.

— Нет, — сказала я.

— Девушка, вы ещё не поняли. Вы ничего не решаете. Вы шестнадцатилетний...

Балконная дверь распахнулась.

Марк влетел в комнату прямо с балкона — третий этаж, вертикальный прыжок, я потом неделю не могла понять, как он не убился. А с лестничной клетки Ася выставила руку в приоткрытую дверь и бросила в коридор всё, что умела.

Мир взорвался.

Дым повалил из ниоткуда — густой, с запахом гари, которого не было. Завыла пожарная сигнализация, какой в доме не было никогда. За окном замелькали мигалки, и чей-то мегафонный голос заорал: «ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ ЗДАНИЯ!» Серые закричали, сбивая друг друга. Соловьёва крикнула «СТОЯТЬ!» — но голос утонул в вое.

Марк схватил Ладу. Она обвила его шею руками.

— Держись, — сказал он.

Они исчезли.

Хлопок. Ветер из балкона. Потом, снизу, со двора, — ещё один хлопок, и больше ничего.

Я стояла посреди дыма, которого не было, и мигалок, которых не было, и думала: два прыжка. С ребёнком. Марк, что ты делаешь со своим сердцем.

Иллюзия длилась секунд тридцать. Когда дым растаял, а сигнализация захлебнулась, в квартире стояла звенящая тишина. Серые озирались, как люди после обморока.

Соловьёва обвела комнату глазами. Балкон. Пустую кровать. Меня.

— Где ребёнок?

— Какой ребёнок? — сказала я.

Я должна была бояться. Но я была пустая, как выжженная земля, — страху негде было укорениться.

— Вы видели сами, — сказала мама. Она встала из-за стола, и голос у неё был ровный — впервые за вечер. — Тут никого нет. Пришли люди в сером, сломали мне посуду, напугали

мою дочь до слёз, а теперь спрашивают, где ребёнок. Идите в ордер смотрите. У вас экспертиза. У вас нет ордера на обыск. У вас вообще ничего нет.

Соловьёва смотрела на неё долго. Потом — на меня. Ещё дольше.

— Утром, — сказала она. — С полной комиссией. С участковым. — Она уже была в дверях, когда обернулась. Только ко мне. Тихо. — Я запомню эту ночь, девушка. И вас — запомню.

Когда дверь закрылась, мама медленно опустилась на стул. Она смотрела на меня так, будто видела впервые.

— Ты, — сказала она. — Это была ты. Там, в кабинете. В зале. Всё это время — ты.

— Да.

— Как он. Как папа. У тебя... у тебя его...

— Нет, мам. — Я села рядом. Голова раскалывалась, из носа опять шла кровь, но мне было всё равно. — Не как папа. Наоборот. Я глушу. Я выключаю. Я — тишина.

Мама смотрела на меня. Потом ударила по плечу — слабо, почти прикоснулась, — и обняла так крепко, что хрустнули кости. Она плакала мне в волосы и повторяла:

— Почему ты молчала. Почему ты молчала, почему ты молчала.

— А ты бы что сделала? — сказала я. — Сдала бы меня. Как Настю. Как всех. Ты бы испугалась. Ты всегда боишься.

Она отстранилась. Я захотела взять слова обратно — и не взяла. Мы слишком долго не называли вещи своими именами.

— Я не знаю, что бы я сделала, — сказала мама наконец. — Не знаю. Но сейчас я знаю одно. — Она встала. Лицо у неё стало другим — не испуганным. Жёстким. — Уходим. Все. Сейчас. Собирай вещи.

— Некуда, мам. Они везде. На вокзале — серые. На трассах — посты. — Я вытерла кровь с губ. — Но я знаю, где её не найдут. Хотя бы сегодня. Мне показали.

Теплица «Заря» стояла за железной дорогой, там, где город заканчивается и начинается ничего.

Когда-то это был тепличный комбинат; «Пересвет» рванул — и его бросили. Стёкла выбило временем, каркасы заросли. А внутри было тепло, и между рядами, в разбитых секциях, росла земляника. Настоящая. Красная. Посреди октября.

— Мила греет, — сказала Ася; она уже была тут, с рюкзаком, — оказывается, дорогу сюда она знала давно. — Растения у неё — как печки.

Мила оказалась тихой девочкой с землёй под ногтями. Близнецы Ярик и Дамир, двенадцать лет, одинаковые до жути, сидели на ящиках и переглядывались молча: они вообще не разговаривали вслух — только друг с другом, головами. Слава, большой и молчаливый, как шкаф, делал туман: выдыхал его, и тот стелился по земле, заметая наши следы и запахи.

Лада спала на самодельной кровати из ящиков и спальников. Рядом сидел Марк. У него были красные уши — кровь высохла корочкой, — и лицо человека, который пробежал марафон. Два прыжка с ребёнком. Он улыбнулся мне через силу, мол, в порядке.

Рост я заметила не сразу. Он стоял у дальней стены, в наушниках, примотанных изолентой к коробке с антенной. Взрослый — почти. Девятнадцать, сказала Ася. Последний год его магии, сказала она же и понизила голос, как будто говоря о болезни.

— Он слышит радио, — шепнула Ася. — Всё. Частоты Комитета, полицию, диспетчеров. Он знал про рейд за час, но было уже поздно — он велел готовить теплицу.

Рост снял наушники. У него было лицо человека, который спит три часа в сутки.

— Они вызвали подкрепление, — сказал он. Голос был ровный, как отчёт. — Но не к вам. К вокзалу и на трассу. Думают, вы побежите из города. — Он посмотрел на меня. — Ты — тишина. Марк сказал.

Я кивнула. Зачем отпираться — они видели, что было в квартире. Нет, не видели. Но Марк сказал. Марк сказал. Он нарушил клятву через два часа после того, как дал её. Я посмотрела на него. Он сидел у Ладиной кровати и не поднимал глаз.

— Я не хотел, — сказал он тихо. — Но надо было объяснить, почему ты важнее всех нас.

Рост подошёл — высокий, сутулый, с руками часовщика.

— Ты понимаешь, что ты умеешь? — спросил он. — Ты гасишь приборы. Рамки. Фономеры. Ты — дыра в их сети. С тобой можно вывести ребёнка из-под носа у комиссии. Ты знаешь, сколько детей в этом городе ждут своего рейда?

— Я не собираюсь никого выводить, — сказала я. — Я хочу, чтобы моя сестра спала дома. Вот и всё.

Рост посмотрел на меня долгим взглядом. Потом кивнул — как будто я сдала экзамен.

— Все хотят спать дома, — сказал он. — Вот об этом вся теплица. Ложись. Тут безопасно.

Я не спала. Я сидела рядом с Ладой и смотрела.

Она спала, и над ней кружило пёрышко. Медленно, лениво, по спирали — как тогда, дома, когда я ещё не знала, что можно не бояться. Я не держала пузырь. Я отпустила его совсем. И Лада была такая, какая она есть: девочка, у которой во сне летают перья.

Так вот какая ты, думала я, когда тебе можно. Вот какая. И плакала, тихо, чтобы никто не видел.

Марк сел рядом. Молча. Взял мою руку.

В его ладони не было магии — я сама её выключила, по привычке, — и всё равно это было самое волшебное, что случалось со мной за шестнадцать лет.

— Завтра придумаем, — сказал он. — Вместе. Мы теперь всегда вместе. Ты понимаешь? Всегда.

— Ты нарушил клятву, — сказала я.

— Я знаю. — Он сжал мою руку. — Можешь выключить меня навсегда. В наказание.

Я не выключила. Я держала его руку и смотрела, как кружит пёрышко, и город за стеклом был серым, и внутри меня тоже было серо и пусто, но где-то на дне этой пустоты тлело что-то тёплое.

Утром, до рассвета, я пошла домой. Мама должна была встретить комиссию — не одна. Ни за что одна.

На лестнице я полезла в рюкзак за ключами — и нащупала бумажку. Сложенную вчетверо. Её не было там вчера. Я точно знала: не было.

Я развернула. Печатными буквами, ровно, без подписи:

«ТИШИНУ СЛЫШНО. НЕ ПРЯЧЬСЯ СЛИШКОМ ГРОМКО».

Я стояла на лестнице, смотрела на записку, и холод шёл по спине — не страх, нет. Хуже. Интерес.

Кто-то знал. Кто-то, кроме Марка, кроме мамы, кроме теплицы, — знал. И этот кто-то решил, что я готова.

Я сложила записку и спрятала в карман. За дверью мама не спала — я слышала, как она ходит. Впереди был день, когда мне предстояло смотреть в глаза Регине Соловьёвой и лгать.

Я вошла в квартиру.

Игра началась.

Глава 6

Из протокола осмотра жилого помещения:

«Следов аномальной активности не выявлено. Приборы дежурной группы исправны. Помех не зафиксировано».

Примечание дежурного, не вошедшее в протокол: «Как и в прошлый раз».

Мама не спала. Я не спала. Мы сидели на кухне, между нами — телефон, экраном вверх, как карта, которую боятся открыть.

Рост сказал мне на прощание одну фразу:

«Заявите первыми. Сами. До рассвета. Тогда она не беглая — она пропавшая. Это разные машины, Кира. Пусть работает та, что ищет, а не та, что хватает».

В шесть утра мама набрала номер полиции. Голос у неё был ровный. Я не знала, что у мамы бывает такой голос.

— Здравствуйте. У меня пропал ребёнок. Дочь. Восемь лет. Ночью. Проснулись — её нет.

Участковый пришёл в восемь. Его звали Сытин, майор, и он был усталый, как все в этом городе. Не злой — усталый. У него были красные глаза и портфель с потёртыми углами, и он сел на нашу кухню так, будто садился на неё каждый день.

— Значит, так, — сказал он. — Рассказывайте. По порядку.

Мама рассказывала. Я слушала и училась. Мама рассказывала так, что ни одно слово не было ложью: «Вечером спала дома. В своей кровати. Мы с Кирой были в соседней комнате. Ночью проснулась — её нет. Балкон открыт. Вещи на месте. Она в пижаме. В тапочках с единорогами».

Всё правда. Ни слова про серых. Ни слова про ордер. Ни слова про мальчика, который улетел с балкона с ребёнком на руках.

— Балкон, — Сытин записал. — Третий этаж. Сама спустилась, по-вашему?

— Она... — мама запнулась. — Она лазючая.

Я смотрела в стол. Если бы я открыла рот, из меня бы всё высыпалось, как из разорванной подушки.

— Приметы, — сказал Сытин. — Рост сто двадцать? Рыжая, говорите. Шрамы, родинки?

— Родинка за ухом, — сказала я. — Слева. Как точка от ручки.

Он записал. Потом посмотрел на меня — внимательно, но без зла.

— Ты сестра. Скажи честно: она не из тех, кто бежит? Может, обиделась на что? Дети в этом возрасте...

— Она не из тех, — сказала я. — Она домашняя. Она боится темноты.

Это была самая правдивая фраза того утра.

Сытин ушёл, пообещав «подключить все патрули» и «опросить двор». Мама закрыла за ним дверь и прислонилась к ней лбом. Простояла так секунду. Потом выпрямилась — и в этот момент я поняла: моя мама больше не та женщина, которая сжигала документы в раковине. Что-то в ней сломалось — и на месте сломанного встало что-то другое. Жёсткое.

— Теперь вторая машина, — сказала она. — Ждём.

Вторая машина приехала в десять. Серый фургон и легковушка. Соловьёва поднялась с двумя серыми и с какой-то женщиной из управы — «полная комиссия», как обещала.

Я открыла им дверь. Соловьёва сделала полшага в квартиру — и остановилась. Она увидела: на кухне вернувшийся Сытин дописывает протокол, на столе — ориентировка с фотографией Лады из второго класса, косички, рыжие брови.

Я смотрела ей в лицо и видела, как она считает. Быстро, как машина. Ребёнок в розыске. Полиция. Протокол. Приметы. Всё легально, всё по бумагам, и всё — не её юрисдикция. Розыск ребёнка — это полиция. А Комитет не забирает ребёнка, которого нет.

— Очень предусмотрительно, — сказала она тихо. Только мне. — Вы быстро учитесь, Кира Ветрова.

— Это вы быстро, — сказала я. — Мы всего лишь заявили о пропаже сестры. А вы уже здесь. С комиссией. Утром в воскресенье.

Комиссия осмотрела квартиру. Формально. Двое серых прошлись с приборами по комнатам, и приборы молчали — им нечего было поймать, квартира была пустая, как орех после белки. Соловьёва стояла посреди Ладиной комнаты и смотрела на кровать. На подушке лежал мишка.

— Она вернётся, — сказала Соловьёва вдруг. Не мне — вообще. Как будто самой себе. — Дети всегда возвращаются. И вопрос только один: к кому они вернутся первым.

Комиссия уехала. На лестнице Соловьёва задержалась. Она обернулась ко мне — мама была на кухне, не слышала.

— Вчера здесь был дым, которого не было, — сказала она. Ровно, как по бумаге. — И сирена, которой не существует. И приборы, которые врут в вашем присутствии уже третий раз. Вы очень интересная девушка.

— Я сдаю все приборы, — сказала я.

— В этом и дело. — Она чуть наклонила голову. — Вы всегда «чистая», Кира. Слишком чистая. За всю практику я видела такое один раз. — Пауза. — Я запросила ваше дело. Полное. С рождения.

Она ушла. Я стояла на площадке и думала: один раз. Один раз она уже видела «слишком чистую». Кто это был? Где он сейчас?

Почему-то вспомнился отец. Я погнала эту мысль. Она вернулась.

В школе в понедельник все знали.

Тётя Галя сделала свою работу быстрее, чем полиция: к первому уроку версия «у Ветровых ночью забрали младшую, прямо из кровати, со слезами» обежала все три этажа. Кто-то смотрел на меня с жалостью. Кто-то — со страхом: рейд был у нас, значит, может быть у кого угодно. Кто-то отводил глаза, потому что жалеть опасно: жалость заметна, а заметность — это флажок.

Егор и Ася встретили меня у ворот, как встречают раненых. Молча. Егор встал слева, Ася справа, и мы вошли втроём, и все, кто хотел подойти с вопросами, передумали.

— Держись, — сказал Егор. — И если что — я могу светить в лицо любому. Ослепну — значит судьба.

— Не надо, — сказала я. — Не свети. Пожалуйста, не свети. Только не ты.

Он понял. Уши потемнели. Он ненавидел свою магию, но больше он ненавидел, что она бесполезна именно тогда, когда хочется что-то сделать.

На большой перемене в столовой напротив меня села Лиза Громова.

Я знала её в лицо — одиннадцатый класс. Красивая по-другому, не как Ася: тёмные короткие волосы, серые глаза, сидит всегда очень прямо, будто её в детстве привязали к спинке стула. О ней ходили слухи. Говорили, у неё была магия — и она от неё избавилась. Сама. Таких было мало, и их было видно: они ходили по школе, как ходят выписавшиеся из больницы — с бледным торжеством выживших.

— Привет, — сказала она. — Слышала про сестру. Соболезную.

— Спасибо, — сказала я.

— Или поздравляю. — Она помешала ложкой в стакане. — Зависит от того, где она теперь.

Ася рядом со мной застыла с булочкой у рта.

— В полиции, — сказала я ровно. — В розыске. Завтра будут ориентировки по городу. Можешь помочь клеить.

— В розыске, — повторила Лиза. И улыбнулась — не зло, скорее оценивающе. — Какая быстрая семья. Моя бы не успела. Моя бы сначала неделю писала заявления, куда скажут.

— Что тебе надо, Лиза?

Она отпила из стакана. Поставила. Посмотрела мне в глаза — прямо, как смотрят врачи, когда говорят правду, от которой не умереть, но тошно.

— У меня была магия, — сказала она. — Ты ведь не знала? Мало кто помнит. Рядом со мной люди не могли врать. Совсем. Даже чуть-чуть. Даже «нет, мам, я не ел конфету». — Она улыбнулась одними губами. — Смешно, да? Дар, как в сказках. Мой папа держался три года. Потом ушёл к другой женщине. Потому что рядом со мной он не мог сказать «я тебя люблю» и притвориться. А рядом с ней — может. Она чистая. Все любят чистых.

Во рту у меня пересохло.

— Я заглушилась сама, — сказала Лиза. — В шестнадцать. Добровольно. Знаешь, что я почувствовала, когда оно ушло? Свободу. Я спала сутки. Лучший день моей жизни. — Она встала. — Так что смотри сама, Ветрова, что тебе соболезновать, а что праздновать. Когда найдут сестру — приходи расскажи, какая она теперь.

Она ушла — прямая, как доска.

— Ведьма, — выдохнула Ася. — Ведьма, ведьма, ведьма.

— Нет, — сказала я медленно. — Хуже. Она честная. Она правда так думает.

И это было хуже всего. Потому что врага, который ненавидит тебя из злости, я знала, как ненавидеть в ответ. А врага, который ненавидит тебя из боли...

Такого врага я встретила впервые.

После уроков я пошла в теплицу. Долгой дорогой, через Серый пояс — Рост учил: «Не ходи одной дорогой дважды». Лада сидела на ящике и смотрела, как Мила перебирает рассаду.

— Кир! — Она слетела ко мне. — Ну что? Когда домой?

Тысяча вопросов в одном. Я присела перед ней, как всегда, когда надо смотреть в глаза.

— Пока нельзя, Лад. Они ищут.

— Пусть ищут. Я же тут. — Она хихикнула, а потом поняла, что я не шучу. — А как же школа? А как же Костик? Он мне должен солдатика.

— Я передам. Солдатика заберу лично.

— А мама?

— Мама придёт. Сегодня.

Мама пришла вечером, в платке, как старушка, — Рост долго не хотел её пускать («взрослый — это след»), но она сказала ему что-то одно, тихо, и он отошёл. Я потом спросила, что она сказала. Мама ответила: «Я сказала, что мне всё равно, что он обо мне подумает. Я пришла к ребёнку».

Они с Ладой сидели на самодельной кровати, и Лада показывала ей, как Мила учит её «держать магию, как дыхание» — вдох, выдох, и пёрышко над ладонью не летит, а стоит. Мама смотрела и улыбалась, и улыбка у неё была новая: не треснувшая по краям, а живая. Она трогала клубнику, красную, посреди октября, и говорила:

— Настоящая. Господи. Настоящая.

А потом Лада уснула у неё на коленях, и мама сидела неподвижно, чтобы не разбудить, и смотрела на меня поверх её головы, и в этом взгляде было всё: и «прости», и «спасибо», и «что мы теперь будем делать».

Я не знала ответа на последнее. Я знала только первые два.

Рост ждал меня у выхода, с наушниками на шее.

— Записку в рюкзак, — сказала я. — Это был ты?

— Нет. — Он не улыбнулся. Рост вообще редко улыбался. — Но я знаю, чья это работа.

— Скажи.

— Не скажу. Он сам. — Рост покрутил антенну на своей коробке. — Он осторожный. Осторожнее меня. Он проверял тебя полгода, прежде чем сунуть бумажку.

— Полгода?!

— Полгода. — Рост посмотрел на меня своими невыспавшимися глазами. — Завтра. Биология. Останься после уроков. Не опаздывай и не приводи хвостов.

Он вернулся к своему радио. Я стояла посреди теплицы, среди клубники и тумана, и у меня внутри всё ходило ходуном.

Биология. После уроков.

Игорь Петрович.

Конечно. Я должна была догадаться ещё тогда, когда он сказал: природа не читает методичек.

Глава 7

Из газеты «Сосновский вестник», 27 лет назад:

«"Это пройдёт", — заверил нашего корреспондента министр здравоохранения. Год спустя министр подал в отставку по состоянию здоровья. Его внук входил в первую сотню зарегистрированных».

Биология была последним уроком. Я сидела за третьей партой, смотрела, как Игорь Петрович рисует на доске пестик и тычинку, и думала: он знает, что я знаю. Он должен знать, что я знаю. Рост мог не предупреждать. Мог предупредить.

Когда прозвенел звонок, он сказал, не оборачиваясь от доски:

— Ветрова. Останься, пожалуйста. Разговор об успеваемости.

Класс вывалился в коридор. Дверь закрылась. За окном был октябрь, серый и мокрый, и кабинет биологии тонул в том особом полумраке, когда ещё не включили свет, а уже пора.

Игорь Петрович стёр с доски пестик. Повесил тряпку. Сел напротив меня, за ученическую парту, — взрослый мужчина в твидовом пиджаке за детской партой, — и сказал:

— «Тишину слышно. Не прячься слишком громко». — Он посмотрел мне в глаза. — Это я.

Я не выдохнула. Я думала, что выдохну — а не выдохнула. Просто сидела и смотрела, и мир был плотный, как в пузыре.

— Почему анонимно?

— Потому что если ты серая — я труп. — Он сказал это буднично, как говорят «если дождь — я зябну». — И потому что я проверял тебя. С седьмого класса.

— С седьмого...

— С седьмого. — Он сложил руки на парте. Руки у него были учительские, в мелу. — Ты сидела вон там. Второй ряд. Я объяснял фотосинтез, а сам думал: что не так с этой девочкой? Вокруг неё тихо. Не пусто — заметь, не пусто, пустых я не чувствую вообще, — а именно тихо. Как в комнате, где только что выключили холодильник. Знаешь этот звук? Его нет. Но ты слышишь, что он был.

Я знала этот звук. Я сама была этим звуком.

— Вы чувствуете магию, — сказала я.

— Чувствую. — Он кивнул. — Все потухшие чувствуют. Нас, если хочешь знать, так и называют в некоторых кругах — глухие музыканты. Играть не можем. А ноты помним.

Он встал, подошёл к окну. За стеклом по двору школьник восьмого класса жонглировал тремя шишками, не касаясь их, — мелкая телекинезия, разрешённая почти, на такое уже и фономеры не реагировали.

— Мне было семнадцать, — сказал Игорь Петрович. — Первая волна. Нас тогда было человек тридцать на весь город — так, во всяком случае, считалось потом. Я два месяца слышал растения.

— Растения?

— Как они растут. — Он усмехнулся, но глаза не усмехнулись. — Звучит дико, я знаю. Трава, деревья, плесень в подвале. У каждого свой темп, свой... голос. Дуб гудит. Берёза шепчет. Клевер на газоне — как детский хор, все вразнобой и счастливо. Я ходил по городу, как по консерватории. Два месяца. Потом — тишина.

Он помолчал.

— Знаешь, почему я биолог? Потому что я один раз слышал, как живёт всё живое. И мне хватило на всю жизнь — и ни на один день не хватило. — Он повернулся ко мне. — Поэтому, когда рядом с тобой стало тихо, я понял. Ты не пустая, Кира. Ты — пауза. Пауза,

которая длится годы. Таких я не встречал. Я встречал только один раз что-то похожее. И об этом — позже.

Он сел обратно.

— Теперь слушай. История. Не та, что по телевизору, — та, что была.

Тридцать восемь лет назад на «Пересвете» рванул реактор. Не сразу — сначала маленькая авария, потом пожар, потом то, что назвали «серой неделей»: облако над городом, снег неправильного цвета, сосны вдоль трассы, которые за зиму рыжели и падали. Потом рвануло ещё в двух местах мира, и «фон» стал тем, чем стал. Взрослые тех лет помнили: первые годы все ждали, что будет. Опухоли. Мутации. Мертворождённые.

Ничего не было. Почти десять лет — ничего. Фон вырос, люди привыкли, «новая норма» вошла в обиход. Город чистил сосны, заливал бетоном площадки, ставил первые датчики — тогда ещё честные, дозиметрические.

А потом, двадцать семь лет назад, у детей началось.

— У нас не было слова «магия», — сказал Игорь Петрович. — У нас не было вообще слов. Мальчик в соседнем подъезде неделю ходил сквозь стены. Девочка из моего класса читала мысли — три недели, потом пыталась выпрыгнуть из окна, потому что не могла больше слушать. Мы сходили с ума от счастья и от ужаса одновременно. А потом это кончалось. У всех. Месяц, два — и всё.

Взрослые тогда сделали то, что умеют лучше всего: замяли. Первую волну изолировали тихо, без газет. Проверили. Отпустили. Выдохнули: перебесились — и ладно. Синдром. Симптом. Пройдёт.

— Министр сказал «это пройдёт», — Игорь Петрович кивнул на свою коробку под столом. — У меня там вырезка. Он не соврал, заметь. Тогда это проходило. Никто не понимал главного: оно не проходит. Оно набирает силу.

Первая волна: месяц-два. Вторая, через пять лет: до года. Третья: три-пять лет. Каждые пять лет срок рос, как прилив. Десять лет назад дети светились с десяти до восемнадцати. Сейчас — с семи до двадцати одного. И прогноз, который не читают по телевизору, а шепчут на конференциях: рост не остановился. Следующее поколение, возможно, не погаснет вообще.

— Прикинь, — сказал Игорь Петрович. — Поколение, у которого магия навсегда. Они вырастут. Им будет тридцать. Сорок. Они будут врачами, инженерами, депутатами. И куда тогда денутся все эти рамки, браслеты и комитеты? Взрослые это понимают. Поэтому и ужесточаются. Они борются не с вами, Кира. Они борются с будущим, которое без них.

— А вы? — спросила я. — Вы на чьей стороне?

— Я на стороне тех, кто хочет спать дома. — Он сказал это словами Роста, и я поняла, откуда у Роста эти слова. — Я слишком стар для баррикад. Я учу. Иногда — вот так. Иногда — сую записки в рюкзаки.

Он потёр переносицу. И вот тут он сделал паузу — такую, что я поняла: сейчас будет главное.

— Ты спрашивала про отца.

Я не спрашивала. Всю дорогу не спрашивала — и именно поэтому всё внутри меня сейчас встало дыбом.

— Мы были «короткие» вместе, — сказал Игорь Петрович. — Андрей был младше на год. У него были руки... — он пошевелил пальцами, подбирая слова. — Ты, наверное, не помнишь. Он мог греть. Не жечь — греть. Мёрзлая вода в бутылке становилась тёплой за минуту. Мы смеялись: человек-грелка. А потом его два месяца кончились, и он пошёл работать на Пересвет. Инженером. Я — в школу. Каждый со своей тишины.

За окном шишки упали на асфальт. Мальчик подобрал их и ушёл.

— Он погиб восемь лет назад. Официально — ночной выброс, несчастный случай при ликвидации. Я тогда не поверил. Не потому что знал что-то — а потому что знал его. Андрей

не полез бы в выброс грудью. Он был осторожный. — Игорь Петрович посмотрел на меня. — Я поднял свои связи. Сменные журналы. Знаешь, что я нашёл? В ту ночь его не было в смене. Вообще. Он не должен был быть на объекте. Ему позвонили — домой, в два ночи, — и он оделся и ушёл.

— Кто позвонил?

— Не знаю. Журналы этого не пишут. — Он помолчал. — Но я нашёл кое-что ещё. Данные городской сети датчиков. Старые, бумажные распечатки — мне достались случайно, это уже другая история. Так вот. В ту ночь, с двух до шести утра, все приборы города лежали мёртво. Не сломаны — молчали. Официально это записали как сбой сети. Четыре часа, Кира. Четыре часа город был слеп.

У меня пересохло во рту.

— Как в зале, — сказала я шёпотом.

— Как в зале, — кивнул он. — Только на весь город. И в сто раз сильнее. — Он наклонился ко мне. — Я восемь лет думал, что это значит. А потом на мой урок села девочка, рядом с которой стало тихо. И я понял: в ту ночь на Пересвете был кто-то, как ты. Тихий. Или что-то, что делает тишину. Твой отец пошёл туда среди ночи, по звонку, — и туда же пришёл тот, кто гасит приборы. А утром твоего отца не стало.

Кабинет качнулся. Это не кабинет — это я.

— Зачем вы мне это рассказываете? — спросила я. Голос был чужой.

— Потому что ты спросишь рано или поздно. Лучше рано. И потому что Соловьёва уже запросила твоё дело, — он сказал это просто, а у меня похолодела спина. — Рост слышал эфир. Она копает. Значит, рано или поздно она докопается до того же журнала, что и я. И мне бы очень хотелось, чтобы к тому дню ты понимала, что там искать.

Он выдвинул ящик стола и вытащил коробку из-под обуви. Серая, с надписью «37 размер», обтрепанная. Внутри — газетные вырезки, пожелтевшие; ксерокопии, выцветшие; тетрадь в клетку, исписанная мелким почерком.

— Архив. Двадцать лет работы. Всё, что я смог собрать про первые годы, про сроки, про законы, про то, как строили Родник. Не всё проверено — половина слухи. Проверяй. — Он поставил коробку передо мной. — Это второе, чему учит история. Проверяй всех. Даже меня. Особенно меня.

— А первое?

— Первое — она повторяется. Не буква в букву. Но рифмуется.

Я несла коробку домой через весь город, и город был другим. Трубы «Пересвета» на горизонте — другими. Фономер на столбе — другим. Всё то же самое, и всё другое, потому что теперь у всего этого была история, а у истории был смысл, и смысл был неприятный.

Дома мама спала — впервые за три дня спала, с лица сошла серая краска. Я проползла к себе, залезла под кровать с фонариком и открыла коробку.

Первая же вырезка: «В школе №2 зафиксированы необъяснимые происшествия. Дети временно изолированы. Родители обращений не подтверждают». Дата — двадцать семь лет назад.

Я читала до трёх ночи. Потом лежала в темноте, смотрела в потолок и думала про отца.

Он оделся в два ночи и пошёл туда, где молчали приборы.

Кто-то позвал его. Кто-то, кто знал его номер — и знал, что он придёт. Зачем среди ночи звать инженера, которого нет в смене? Самый простой ответ: потому что он был хороший инженер и знал объект наизусть. Но простой ответ не объяснял главного — четырёх часов, когда весь город был слеп. Зачем глушить приборы, если нужен просто инженер?

Магом он тоже не был нужен: его магия угасла больше четверти века назад. Значит, нужен был человек. Тот, кто не боится магии. Кто помнит, как это — быть на той стороне. Кто придёт среди ночи, не задавая вопросов, и не побежит потом в комитет.

И кто был тот, кто гасил приборы? Где он сейчас? Жив ли? А если жив — почему молчал восемь лет?

Тишина, сказала я себе. Ты всю жизнь хотела знать, почему тебе досталась такая дурацкая магия. А что, если она не дурацкая. Что, если она — ключ. К двери, которую кто-то очень старался закрыть.

За стенкой мама ворочалась во сне. На столе лежала записка — «Тишину слышно». Теперь я знала, чей это почерк.

Я не знала только, зачем он меня позвал. И боялась, что узнаю.

Глава 8

Из архивной справки (не для печати):

«Средний срок удержания синдрома: год первый — 41 день. Год пятый — 11 месяцев. Год десятый — 3,2 года. Год пятнадцатый — 8 лет. Год двадцатый — 13 лет, стойкая тенденция к росту. Прогноз не публиковать».

Я читала коробку три ночи. Под одеялом, с фонариком, как читают запретные книги, — а других, наверное, и нет.

История раскладывалась на полоски, как карточный пасьянс. Только пасьянс этот никогда не сходился.

Год первый. Заметка без подписи: «В школе №2 зафиксированы необъяснимые происшествия. Дети временно изолированы. Родители обращений не подтверждают». На полях, почерком Игоря Петровича: «Подтверждали. Трое. Потом отозвали. Почему — понятно».

Год третий. Статья с фотографией: улыбающийся мальчик держит на ладони голубя. «ЧУДО-ДЕТИ ИЛИ УГРОЗА? Учёные разделились». На полях: «Голубь был мёртвый. Он их оживлял. В статью не вошло». У меня похолодели руки.

Год пятый. «Синдром отступает! Средний срок — полгода. Облегчение в семьях». Кто-то обвёл слово «отступает» красным и написал: «Он не отступает. Он отдыхает».

Год восьмой. Указ: «Создан Комитет биобезопасности. Задача — защита детей с аномальным синдромом и лиц, их окружающих». Дальше, мелко: функции. Регистрация. Наблюдение. Изоляция «в интересах». Игорь Петрович подчеркнул «в интересах» три раза.

Год двенадцатый. «Открыт первый специализированный санаторий "Родник". Временное содержание носителей в период нестабильности. Пребывание — до трёх месяцев». Вклеена вторая вырезка, на три года позже: «Срок пребывания продлён до года. По заявлениям врачей». Третья, ещё через два: «Временное содержание переименовано в стационарное». Больше вырезок про Родник не было. Ни одной. Как будто дверь закрылась — и из-за неё не доносилось больше ни звука.

Год пятнадцатый. Обрывок самиздатской листовки, ксерокопия с ксерокопии, буквы поплыли: «ИЮНЬСКИЕ ДЕТИ. Мы не прокляты. Мы не больны. Мы просто другие. Выходите. Не бойтесь. Нас не заберут всех». На полях Игорь Петрович написал одно слово: «Забрали».

Я долго смотрела на это слово. Потом листала дальше.

Год семнадцатый. «Марш в центре города разогнан. Подростки, участвовавшие в несанкционированной акции, направлены на профилактические беседы. Организаторы установлены». Всё. Ни имён, ни лиц. Целое восстание вычистили из памяти города, как вычищают надпись со стены. Если бы не клочок ксерокса — я бы никогда не узнала, что дети уже выходили. До меня. Что я не первая, кому надоело.

Год восемнадцатый. «Процедура коррекции синдрома признана добровольной. Очередь в региональных центрах — до года». Заглушка. Добровольная. Я вспомнила Лизу: «Лучший день моей жизни». Поставила вырезку на место. Очень аккуратно.

Год двадцатый. Закон «О биологической безопасности несовершеннолетних». Рамки. Браслеты. Обязательная регистрация. Смотрины с семи лет. «Забота о будущем».

И последняя вклейка — свежая, годовой давности. Не вырезка, а распечатка, полстраницы: «В закрытом докладе институтской группы отмечается: рост срока удержания синдрома не замедляется. Вероятность стабилизации на уровне "пожизненно" оценивается в 60–70%. Рекомендации — в отдельном томе». На полях, почерком Игоря Петровича, дрожащим, не таким ровным, как везде:

«В отдельном томе — рекомендации, о которых нам не скажут никогда».

Я закрыла коробку и долго лежала в темноте, глядя в потолок.

История — это не прошлое, думала я. Это то, что стоит за спиной и дышит. Ты его не видишь. Но оно видит тебя.

Мама нашла меня за этим в четверг. Я забыла спрятать вырезки — они лежали на моём столе стопкой, и на верхней была та самая, про Пересвет, старая, про «аварию и героическую ликвидацию».

Она села на кровать. Долго молчала. Потом сказала:

— Ты спрашиваешь про него. Правильно. Ты имеешь право.

— Игорь Петрович сказал, что в ту ночь его не было в смене. Что ему позвонили. Мам. Кто позвонил?

Мама смотрела на свои руки. У неё были красивые руки, я никогда этого не замечала — всегда смотрела мимо, как смотрят мимо привычной мебели.

— Не знаю, — сказала она. — Я восемь лет задаю себе этот вопрос. Он поднял трубку, выслушал, сказал только: «Я еду». Я спросила — куда. Он одевался уже. И он сказал...

Она замолчала. В комнате было слышно, как тикает будильник — старый, стрелочный, отцовский, до сих пор заведённый.

— Он сказал: «Я должен. Там ребёнок».

— Ребёнок? — Я села. — Какой ребёнок?

— Не знаю. — Мама наконец подняла глаза. В них стояло то, что стоит восемь лет и не высыхает. — Он не успел сказать. Или не хотел, чтобы я знала. Он поцеловал меня — тут, — она тронула висок, — и ушёл. А утром пришли двое. Не военные. Штатские. Сказали: выброс. Несчастный случай. Похоронили в закрытом гробу, Кира. Тебе было восемь, Ладе — четыре месяца. Я настояла, чтобы тебя не брали. Я не хотела, чтобы ты запомнила его таким. А потом я думала: а может, я просто не хотела, чтобы ты видела, что я боюсь открыть этот гроб.

Мы сидели молча. Будильник тикал.

— Мам. А гроб... ты видела?

— Видела. Пустой не был. — Она сказала это быстро, как вырывают занозу. — Было что хоронить. Мне сказали — смотреть нельзя, выброс. Я не стала. Я трусиха, Кира. Ты права. Я всегда была трусихой. — Она встала, подошла к шкафу, достала с верхней полки коробку. Обувную, как у Игоря Петровича. У всех в этом городе, похоже, были коробки из-под обуви с тем, о чём нельзя говорить вслух. — Вот. Всё, что осталось.

Внутри: значок с пересветской сеткой. Пропуск, ламинированный, фото — папа молодой, с чёлкой, улыбается вполсилы, как улыбаются на документы. Рабочие перчатки. И фотография смены: восемь мужиков у ворот объекта, лето, все щурятся. Папа третий слева.

— Забирай, — сказала мама. — Мне не надо. Мне нужно было, чтобы было. А тебе нужно знать. Это разные вещи.

В школе в пятницу на стенде повесили новое объявление. Не «урок трезвости» — другое, хитрее:

«ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "ТРЕЗВОСТЬ" приглашает. Тема первой встречи: "Синдром: враг или друг?" Приходите все. Даже вы».

«Даже вы» было подчёркнуто два раза.

— Оригинально, — сказал Егор. — «Даже вы». Это они кому — нам?

— Всем, — сказала Ася. — В том-то и хитрость. Всех позвали, и каждый думает, что «вы» — это про него.

— Клуб, — фыркнул Егор. — Дискуссионный. Что они будут обсуждать? «Синдром: враг или друг» — ага, щас. Враг или враг. Вот две точки зрения, выбирай.

Но я видела: его это задело. Не смешило — задело. Потому что «враг или друг» — это был вопрос, который Егор задавал себе каждое утро, глядя в зеркало на свои светящиеся уши.

Я подумала про Лизу. Не спросила, её ли это клуб. Я и так знала. У неё был почерк: прямой, как она сама. Даже вы.

Вечером в теплице пахло землёй и туманом. Марк лежал на ящиках рядом со мной, и мы вместе листали архив — я рассказала ему всё. Он слушал так, как слушал всегда: не перебивая, с тем самым лицом «важно, не страшно».

— «Июньские дети», — сказал он. — Двенадцать лет назад. Их было, может, триста. Их забрали всех. А через десять лет появились мы, и нас уже не заберёшь всех — нас слишком много. Заметила? Каждый раз их машина опаздывает на одно поколение.

— Философ.

— Прыгун. — Он ухмыльнулся. — Философия для тех, кто не умеет телепортироваться.

Я швырнула в него вырезку. Он поймал — конечно, поймал, у него рефлексы, как у кошки. Потом вдруг сказал:

— Хочешь, расскажу, как я прыгнул первый раз?

— Хочу.

— Восемь лет. Гаражный кооператив, за железкой. Я залез на крышу — ну, залез, дети лазают. И стою. И внизу — пацаны, ждут, когда я слезу, а мне страшно. И я подумал: а если я птица? Ну то есть серьёзно подумал. В восемь лет логика такая: птицы летают, значит, если захотеть очень сильно... — Он рассмеялся. — Я захотел очень сильно. И прыгнул. Не вниз — вперёд. Через весь проезд, на крышу напротив. Десять метров. Сломал руку при приземлении. И знаешь что? Я лежал там с рукой неправильной формы, и мне было не больно. Мне было счастливо. Я думал: я птица. Я всё-таки птица.

Он повернулся ко мне. Мы лежали рядом, на ящиках, накрытых старым брезентом, и сверху сквозь выбитые стёкла смотрело серое небо, а где-то рядом Мила перешёптывалась с Ладой, и пахло земляникой.

— А потом был месяц гипса, — сказал Марк тише. — И мать сказала: «Ещё раз — и я уеду». Она через год уехала. Не из-за этого. Но я запомнил: у нас дома было так — можно ломать руки, но нельзя быть другим.

— У нас тоже, — сказала я. — У нас можно было всё, кроме как называть вещи своими именами.

Мы лежали молча. Его рука была рядом с моей — в сантиметре. Я чувствовала её тепло через этот сантиметр, как чувствуешь батарею. Мир снова сжался — до теплицы, до брезента, до сантиметра.

— Кир, — сказал он.

— М.

— Если я сейчас тебя поцелую, ты меня выключишь?

— Сто процентов, — сказала я. — Ты будешь первым парнем в истории, которого выключили посреди поцелуя.

— Я готов к этому, — сказал он торжественно. — Я для этого и рожден...

Дверь теплицы с грохотом открылась. Близнецы — Ярик и Дамир — ввалились внутрь, остановились, посмотрели на нас. Одинаковые. Синхронные. С ягодными пятнами вокруг ртов.

— Мы за клубникой, — сказал Ярик.

— Мила разрешила, — сказал Дамир.

Они набрали клубники и вышли. Дверь закрылась. Мы с Марком лежали и ржали — тихо, чтобы не разбудить всю теплицу, сотрясаясь, как два идиота, — и почти-поцелуй уплыл куда-то в октябрьский туман, но не совсем. Он остался висеть между нами, как отложенное дело.

Мы оба знали, что вернёмся к нему.

На выходе я задержалась. Лада и Мила сидели над грядкой, и Лада держала над ладонью пёрышко. Не крутила — держала. Неподвижно. Секунд десять. Потом выдохнула, и пёрышко упало ей на руку.

— Видела? — шёпотом сказала Мила. — Вчера было четыре секунды. Она учится. Магия — как дыхание. Не задерживаешь — управляешь.

Лада повернулась ко мне. Вся — одно большое рыжее «я смогла».

— Я дышу, Кир, — прошептала она. — Я правда дышу.

Я смотрела на неё и думала: они забрали у нас дом, разбудили нас посреди ночи, загнали мою сестру в заброшенную теплицу. А она тут научилась дышать.

Пусть попробуют теперь это отнять.

Глава 9

Из служебной переписки (перехвачено, расшифровано не полностью):

«...инспектору Соловьёвой Р. Ваш запрос удовлетворён. Архивное дело № 114-П выгружено. Предупреждаем: материалы восьмилетней давности, место происшествия — закрытая территория. Дальнейшее распространение — только с санкции куратора».

Лиза подошла ко мне в четверг, у спортзала, когда коридор был пустой. Она умела выбирать моменты — это я уже поняла.

— Я проверила схему рассадки, — сказала она без приветствия. — В зале. В тот день, когда прибор «глючил».

Мой желудок сделал то, что делает желудок, когда внезапно понимаешь: тебя считали.

— Не знаю, о чём ты.

— Знаешь. — Лиза говорила тихо, очень ровно. — Прибор молчал ровно на твоём ряду. Начал пищать за два ряда впереди и замолчал на двух сзади. Я сидела через проход. Я подумала — совпадение. Бывает. А потом я посмотрела, кто сидел в центре. — Пауза. — Привет, Ветрова.

Я смотрела ей в глаза и молчала. Молчание — единственное, чему меня научила жизнь: не подтверждать, не отрицать. Дышать.

— Я никому не сказала, — сказала Лиза. — Пока.

— Почему?

Вот тут она сделала не то, чего я ждала. Она не улыбнулась. Не надавила. Она вдруг выглядела... растерянной. На секунду. Потом собралась.

— Потому что я не понимаю, что ты, — сказала она. — Ты носитель. Причём непростой — таких, как ты, я не слышала. Ты умеешь прятать других. Значит, ты — опаснее всех них вместе взятых. По логике, я должна сдать тебя сегодня. — Она помолчала. — Но.

— Но.

— Но моя магия разрушила мою семью, — сказала Лиза. — А твоя, похоже, защищает твою. Одна и та же штука — синдром, — и делает противоположное. Мне это... не даёт покоя. Я хочу понять.

— Что понять?

— Кто из нас прав. — Она смотрела прямо, как смотрела всегда. — Докажи мне, что я неправа. Что магия — не яд. Тогда, может, я промолчу навсегда. Докажешь, что права я, — и я сама пойду и расскажу, что ты такое. И это будет милосердие, поверь. Тебя заберут живой. Других — нет.

Она повернулась и ушла — прямая, как стрела. А я стояла у спортзала и чувствовала, как мир прибавил ещё одну ось. Раньше были: серые против нас. Теперь: серые против нас, и ещё одна девочка, которая не враг и не друг, и которая — самое страшное — права в чём-то, что я не могла ей возразить.

Она сама заглушила свою магию. Она знала, о чём говорит. А я?

Я знала только, что моя сестра учится дышать в заброшенной теплице, и что больше я ничего не знаю.

«Трезвость» собралась в среду, в кабинете истории. Егор пошёл «на разведку» — сам настоял, «я лампочка, меня не заподозрят», — и вернулся бледный.

— Сорок человек, — сказал он. — Сорок, Кир. Из нашей школы. Сидели и слушали.

— И что говорила? — спросила Ася.

— Лиза. Говорила про отца. Про то, как жить, когда рядом с тобой не могут врать. И ещё один парень говорил — Северин, из одиннадцатого, красивый такой, спортивный. Про сестру. У него сестра погибла. В Торфянке. Три года назад. — Егор сглотнул. — Он не орал.

Он вообще не орал. Он говорил тихо, и в классе стояла такая тишина, что я слышал, как мои уши светятся. Понимаете? Они не шипели, не кривились. Они слушали.

Я молчала. Торфянка. Опять Торфянка. Кроватка, оплавленная с одной стороны.

— Хуже всего, — сказал Егор, — что я их понимаю. Вот в чём фишка. Я сидел и думал: он прав. Она права. У неё отец ушёл. У него сестра сгорела. Я бы тоже ненавидел. А потом я вспомнил, что ненавидят-то — меня.

Рост позвал меня в тот же вечер. Он стоял над картой города — нарисованной от руки, на куске обоев, — и не сказал «привет».

— Дело, — сказал он. — Девочка, девять лет. Вокзальный район. Гасит свет — не зажигает, а гасит. Вокруг неё, когда боится, тухнут лампочки. Квартал мерцал дважды. Фономеры уже стоят по периметру, ждут третий раз. Комиссия у них завтра.

Я поняла, к чему он клонит, ещё до того, как он договорил.

— Завтра её заберут, — сказал Рост. — Сегодня ночью её надо вывести. Дальняя родня в Ключах, за сорок километров, согласна взять. Наша задача — довести до машины. Шесть километров через Серый пояс. Два фономера на маршруте. Один пост на выезде. — Он посмотрел на меня. — Без тебя не получится. С тобой — получится. Решай быстро.

— Я иду, — сказала я.

Не подумала. Ни на секунду. А потом уже, потом, внутри стало страшно — но слово сказано.

Операция собралась за час. Рост разложил роли, как раскладывают карты: Ярик идёт с нами, Дамир остаётся с ним — «рация», мысленная связь, чище любого эфира. Слава — туман на перекрёстке у выезда. Марк — страховка и шум. Мила — дома, с Ладой. Мать Вари — тётя Галя из другого мира, из мира, где соседки не стучат, а предупреждают, — передала через третьи руки: «Скажите им спасибо. Скажите, я буду ждать её звонка. Скажите...» — и дальше заплакала, сказал Рост, и не стал передавать.

Варя ждала нас на заднем дворе своей пятиэтажки, с рюкзачком. Девять лет. Косички — как у Лады. У меня что-то перевернулось внутри.

— Ты Кира? — прошептала она. — Мне сказали, иди с Кирой.

— Со мной можно, — сказала я. — Только правила: не отпускаешь мою руку. Не говоришь. Если страшно — сжимаешь руку. Сильно. Я пойму.

Она кивнула. Взяла. Рука была маленькая и ледяная.

Мы пошли через Серый пояс — мёртвые кварталы, где окна как глаза без зрачков, где фономеры висят на столбах, как плоды на мёртвых деревьях. Первый фономер — у старой бани. Я раздула пузырь за квартал, и мы прошли под ним, как проходят под дождём под зонтом, — он даже не пискнул. Ярик шёл впереди, закрыв глаза: он слушал Дамира, а Дамир слушал Роста, а Рост слушал весь город.

— Патруль, — прошептал Ярик вдруг. — Два квартала. Сюда.

Мы нырнули за пустую цистерну — ржавая громада, забытая лет двадцать назад. Присели. Варя зажала себе рот руками. Фары проехали по стене цистерны — медленно, как палец, — и я увидела, как её глаза расширяются, и поняла: сейчас. Она испугается по-настоящему, и её магия рванёт.

Я обняла её и накрыла пузырем — туго, плотно, как укрывают одеялом.

— Ш-ш, — сказала я ей в самое ухо. — У меня тут тихо. Слышишь? У меня всегда тихо.

Патруль проехал мимо. Не остановился. Фары уплыли.

Варя дрожала. Я держала её и держала пузырь, и голова моя наполнялась той знакомой болью — гайка в черепе, — а я думала: десять минут. Держи. Пятнадцать. Держи. Двадцать. Кровь пошла из носа — тонко, горячо. Я вытерла рукавом, не глядя.

Пост на выезде был последним. Слава стоял за сто метров и делал своё: туман пополз на пост — густой, белый, вязкий, как молоко. Двое постовых вышли, ругаясь: «только не это»,

«опять этот дурной туман». Мы прошли в пятидесяти метрах от них, по обочине, бесшумно. Варя не издала ни звука. Девять лет, а выдержала.

Машина ждала на перекрёстке за постом — старый седан, мужчина за рулём, не оглядываясь. Варя вдруг повернулась ко мне. Обняла. Жарко, крепко, как умеют только дети.

— Скажи маме, — прошептала она, — что я дышу. Как Мила учила. Я дышу.

Я стояла и смотрела, как красные габариты тонут в тумане. Что-то во мне было пусто. Что-то — полным до краёв.

— Добро пожаловать в теплицу, — сказал Рост по близнецовой связи, когда Ярик открыл глаза и кивнул. — По-настоящему.

В теплице было тепло, и пахло клубникой, и Марк ждал меня у выхода, сияя, как Егор на все сто ватт.

— Ты видела? — Он схватил меня за плечи. — Ты видела, как она уехала? Кир. Мы это сделали. Мы вытащили её!

Мы поднялись на крышу теплицы — по железной лесенке, на каркас, где было безопасно. Сверху город был серым морем, а над ним — тучи, а над тучами где-то были звёзды, которых мы не видели, но знали, что есть.

Я сидела, вымотанная, как после ста километров, и улыбалась. Марк сидел рядом. Между нами снова был сантиметр.

— Кир, — сказал он.

— М.

— Помнишь, я спрашивал: если я тебя поцелую, ты меня выключишь?

— Помню. Я сказала — сто процентов.

— А если я попрошу разрешения?

Я повернулась к нему. У него было самое серьёзное лицо на свете. И тёмные глаза. И ямочка у губ, которую я уже знала.

— Марк, — сказала я. — Хватит спрашивать. Делай.

Он поцеловал меня. И это было не как в кино. Это было лучше, чем в кино, потому что было настоящее: холодный нос, озон и мятная жвачка, и чьё-то сердце — то ли моё, то ли его — колотилось так, что рамки бы запищали. Пузырь мой спал. Магия его спала. Мир был большой, и серый, и прекрасный, как никогда.

— Это на всю жизнь, — сказал он, оторвавшись. Голос у него сел. — Я решил.

— Ты всегда решаешь за двоих?

— Только про нас.

— Ну, — сказала я, и моя рука нашла его руку, и сжала. — Раз решил — не передумывай.

Мы сидели ещё долго. Город молчал. Внизу, в теплице, спали дети, и каждому из них было можно то, чего нельзя было дома, и это было неправильно, и это было правильно, и я не знала, как назвать эту правильность, кроме как: наша.

Рост встретил нас у лесенки. Он не улыбался. Он вообще не улыбался, но сейчас — другое. Сейчас его лицо было лицом человека, который принёс неизбежное.

— Кира. Тебе надо это слышать.

Мир встал.

— Соловьёва вышла на столичный архив, — сказал он. Ровно, как всегда. Отчёт. — Запросила дело. Архивное. Гибель персонала на объекте «Пересвет», восьмилетней давности. В эфире назвали фамилии для выгрузки.

Он посмотрел мне в глаза.

— Твоя там была.

Ветер гулял в каркасе теплицы. Марк стоял рядом, я чувствовала его руку — горячую, живую, — и смотрела на Роста, и думала: она копает туда же. Туда, где молчали приборы. Туда, где мой отец пошёл среди ночи за ребёнком, которого я не знала.

Она хочет понять, что я такое.

И она копает в ту же яму, в которую копаю я.

— Значит, гонка, — сказала я. Мой голос был спокойный. Наверное, я устала бояться. — Кто первый докопается.

Рост кивнул. Где-то далеко, в сером море города, одиноко пикнул фономер и замолчал. Тишина легла на крышу теплицы — моя тишина, родная, — и я впервые подумала: может быть, она мне досталась не просто так.

Может быть, это не наказание.

Может быть, это наследство.

Глава 10

Из приказа по школе №3:

«С понедельника на входе устанавливается дополнительная рамка контроля. Проверка личных вещей учащихся проводится по усмотрению дежурного администратора. Напоминаем: хранение предметов с аномальными свойствами на территории школы запрещено».

В понедельник у школы стояла очередь. Не от первого звонка — от второй рамки.

Теперь их было две: старая, «тихая», и новая, чёрная, с красным глазком над проходом. Между ними — стол. За столом — дежурный администратор и женщина из Комитета с резиновыми перчатками. Рюкзак на стол. Открыть. Показать.

У первоклашек это занимало вечность.

Я стояла и смотрела, как женщина в перчатках роется в чужих пеналах, чужих сменках, чужих завтраках. У мальчика второго «А» она нашла брелок — самодельный, из бусин, со светлячком внутри. Кто-то сделал его своими руками: светлячок светился, потому что бусины зарядили магией. Копеечная, детская магия.

— Что это? — спросила женщина.

Мальчик молчал. У него уже дрожала губа.

— Папа сделал, — сказал он наконец. — Чтобы не страшно было.

— Хранение предметов с аномальными свойствами запрещено. — Она положила брелок в жестяную коробку, как кладут улики. — Родителям будет направлено уведомление.

Мальчик смотрел на жестяную коробку. Светлячок светился сквозь щель, и женщина закрыла её крышкой, как закрывают глаза.

Никто ничего не сказал. Очередь шевельнулась и поползла дальше. Я думала: вот оно. Вот как это делается. Не ордерами и не фургонами — а вот так, по бусинке. Приучить к тому, что твои вещи — не твои. Что твоё «не страшно» — запрещено.

Мы с Егором прошли рамки молча. Он не светился. Он вообще больше почти не светился — с того дня во дворе, с коробки. Я заметила: он научился гасить. Не магию — себя.

— Новое слово, — сказал Егор, кивая на жестяную коробку, которую уносили в кабинет завуча. — «Улики». У меня дома теперь тоже улика. В коробке. С синим огоньком.

— Егор...

— Спокуха, Ветрова. Я как партизан. Все при мне.

Но уши у него были серые. Обычные. И от этого было хуже, чем от любого свечения.

На классном часе нам зачитали правила. Новые. Проверки — в любое время, без предупреждения. Вещи — только разрешённые. «Если вам нечего скрывать, вам нечего бояться», — сказала классная руководительница, и глаза у неё при этом были виноватые.

— У меня дед говорил, — прошептал Егор с задней парты, — что фразу «нечего скрывать — нечего бояться» придумали те, кому есть что искать.

Классная услышала. Сделала вид, что нет. Она вообще в последнее время много чего делала вид, что не слышит.

Меня вызвали на третьем уроке. Не к директору — в кабинет куратора.

Куратор появился в школе на прошлой неделе: «сотрудник по связи с Комитетом биобезопасности», кабинет на первом этаже, рядом с медкабинетом. Мы его почти не видели. Он пил чай и подписывал бумаги. Дети звали его «куратор Бука».

Я ожидала увидеть Буку. В кабинете сидела Соловьёва.

— Здравствуйте, Кира. — Она указала на стул. — Садитесь. Бука... простите, капитан Воробьёв вышел. Мы одни.

Я села. Сердце билось где-то в горле, но лицо я сделала скучное. У меня давно было заготовлено скучное лицо.

— Чай будете? — Она подвинула термос. — Настоящий. Не школьный.

— Нет, спасибо.

— Как хотите. — Она налила себе. Действовала она не спеша, как человек, у которого весь день свободен. — Я прочитала ваше дело. Всё. С рождения. Отличные оценки. Тихая. Ни одного замечания. За десять лет — ни одного. — Она подняла глаза. — Вы знаете, как это редко? Дети с синдромом не бывают идеальными. Они срываются. Они вспыхивают. У них подростковый возраст и магия, это как бензин и спички. А вы — идеальная. Как будто вам нечем вспыхивать.

— Я здорова, — сказала я. — Приборы это подтверждают.

— Приборы, — повторила она. И чуть улыбнулась. — Приборы подтверждают всё, что им говорят подтвердить. — Она отпила чай. — Знаете, что меня заинтересовало в вашем деле? Отец. Инженер с Пересвета. Погиб восемь лет назад. Несчастный случай. Вы помните его?

— Нет, — сказала я. — Почти.

— Жаль. Хороший человек, судя по характеристикам. — Она поставила стакан. — Я не об этом хотела поговорить, Кира. Я хотела сделать вам предложение.

Я ждала.

— Государству нужны особенные дети. Не носители — особенные. Те, кто умеет то, чего не умеют другие. У нас есть... программы. Стипендии. Особый статус. Семья особого сотрудника получает льготы, о которых в этом городе не слышали. — Она смотрела на меня внимательно. — Я не знаю точно, что вы умеете. У меня нет доказательств, и вы это знаете. Но я инспектор двадцать лет. Я видела слишком много «глючных» приборов рядом с вами, чтобы поверить в совпадение.

— Я ничего не умею, — сказала я.

— Хорошо. Тогда скажу иначе. — Она наклонилась вперёд. — Я видела такое один раз. Человек, рядом с которым молчат приборы. Одного на всю страну, Кира. Вы знаете, где он сейчас? Работает на государство. Добровольно. У него квартира в столице, звание, будущее. Его семья ни в чём не нуждается. Ему хорошо.

Один на всю страну. У меня внутри стало холодно и любопытно одновременно. Один. Значит, есть ещё. Значит, я не единственная. Значит, в ту ночь, на Пересвете...

— Я рада за него, — сказала я.

Соловьёва смотрела на меня долго. Потом вздохнула — почти искренне.

— Вы умная. Поэтому скажу прямо, как умной. Ваша сестра в розыске. Розыск — это орбита, Кира. Ребёнок крутится по орбите, и рано или поздно орбита приводит его туда, откуда он ушёл. Это физика. Одно моё слово — и орбита станет короче. Другое слово — и её не станет вовсе. — Она подняла руку, как будто ловила возражение. — Я не угрожаю. Я никогда не угрожаю детям. Я объясняю гравитацию. На моём месте мог быть человек погрубее. Запомните: я та, кто объясняет гравитацию.

Я молчала. В груди всё кипело, но я молчала, потому что молчание — единственное, что я умела лучше неё.

— Подумайте, — сказала Соловьёва. — Не спешите. У вас есть время. — Она встала, и я поняла, что разговор окончен. — Пока есть.

В теплице меня ждали две новости. Хорошая и обычная.

Хорошая лежала на ящике: открытка. Из Ключей. Варя нарисовала фломастерами дом, солнце — огромное, оранжевое, — и девочку с косичками. Снизу, кривыми буквами: «Я ДЫШУ». Почерк был детский, а глаза у меня от него защипало.

— Пришло сегодня, — сказал Рост. — Через пятые руки, как положено. — Он чуть шевельнул уголком рта, что у него считалось улыбкой. — Твоя работа.

Обычная новость: я рассказала про Соловьёву. Рост слушал, не снимая наушников с шеи. Марк сидел рядом, и его рука была у меня на колене — горячая.

— Вербовка, — сказал Рост. — Классика. Она тебя не в Родник хочет. В кадры. Ты ей как... — он пощёлкал пальцами, — как редкая монета. На неё не расплатиться, но в коллекцию — самое то.

— Она сказала: один на всю страну. Тот, рядом с кем молчат приборы. Работает на государство. — Я сглотнула. — Рост. А вдруг это он? Тот, кто был на Пересвете? Тот, кто глушил город?

Рост переглянулся с близнецами. Близнецы переглянулись друг с другом.

— Возможно, — сказал он медленно. — И тогда вопрос: он туда пошёл добровольно — или его взяли за... — он не договорил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.